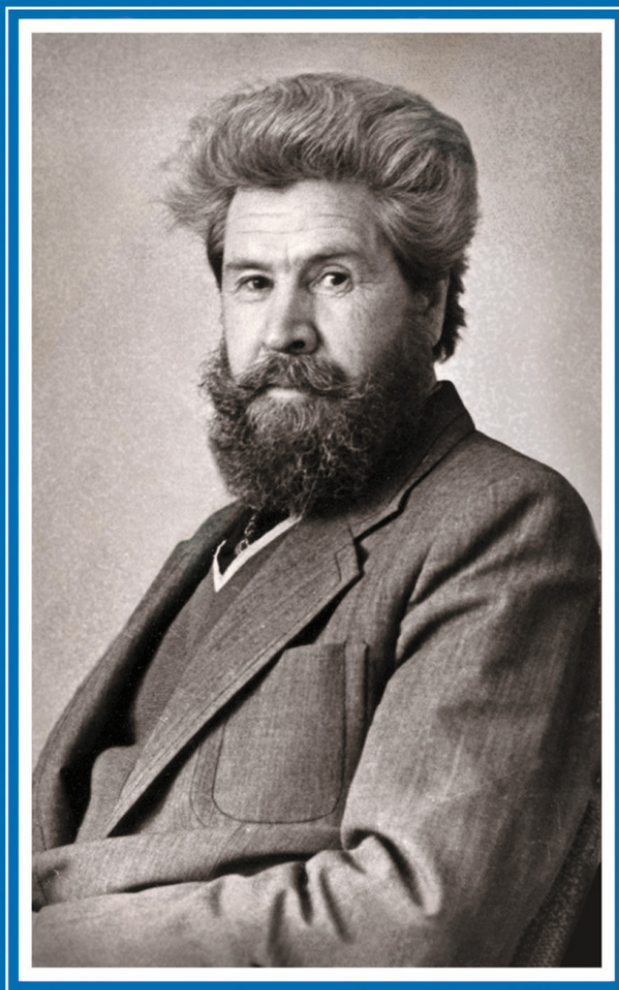


Борис Андреевич Можаяев



ПРОДАННАЯ ДЕРЕВНЯ



Русская классическая библиотека

Борис Можаяев

Проданная деревня (сборник)

ТД "Белый город"

2017

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

Можаев Б. А.

Проданная деревня (сборник) / Б. А. Можаев — ТД "Белый город", 2017 — (Русская классическая библиотека)

ISBN 978-5-485-00572-6

При составлении юбилейного сборника Бориса Можаева И. П. Борисова, литературовед, критик, многолетний друг писателя, ушла от традиционного хронологического или жанрового принципа построения/членения тома. По ее замыслу объединение произведений разного времени и разной жанровой принадлежности в тематические блоки должно было привести к рождению внутренне единой книги, разносторонне и целостно представляющей творчество автора. Группировка текстов позволяет выявить, с одной стороны, богатство жизненного опыта Б. А. Можаева, разнообразие его интересов, разнородность источников вдохновения, гибкость и пластичность творческой манеры, варьирующейся в зависимости от замысла произведения. С другой стороны, она высвечивает сквозные мотивы, а через них и внутреннюю логику развития мысли, объединяющую все творчество писателя. Такой подход к составлению собрания произведений писателя обеспечивает живость восприятия сборника в целом. Перед нами предстает книга, демонстрирующая константы российской жизни, вскрывающая корни многих современных проблем, предлагающая не утратившие актуальности решения.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-485-00572-6

© Можаяев Б. А., 2017
© ТД "Белый город", 2017

Содержание

Борис Можаяв	6
Борьба без усталости и сроков	6
По дороге в Мещеру	24
Живой	24
История села Брехова, писанная Петром Афанасиевичем	98
Булкиным	
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Борис Можаяев Проданная деревня



Борьба без усталости и сроков

Борис Андреевич Можаяев рассказывал, что в его местах – это Рязанщина – из соседних деревень уходили на заработки в Москву: на строительные работы либо в рестораны нанимались, а в их селе дети шли к морю: в Питер и там – на морские суда или по Волге до Каспия. Тяга к морю, к флоту прививалась с детства¹.

¹ Делюси Л. П. Лядунский полуостров – остров Родос.//Борис Можаяев: земля и воля. Цикл воспоминаний о нем в ауди-

«Дед мой Иван Можаяев был астраханским лоцманом... еще в прошлом (XIX) веке водил суда по знаменитому каналу из Волги в Каспий»². Дед по матери, Песцов Василий, служил на Черном море. «Отец до революции тоже ходил на пароходах и шхунах, готовясь в лоцманы». Но к Тихому океану, на Дальний Восток, отец Бориса Андреевича попал не в качестве речника или моряка, а как арестант. НКВД посадил его в мае 1935 года – не желал идти в колхоз. Отец погиб в заключении. Можаяев служил на Дальнем Востоке после окончания в 1948 году Высшего инженерно-технического училища ВМС (Ленинград). А много раньше, в 1940-м, он поступил после средней школы – едва минуло семнадцать – на кораблестроительный факультет Горьковского института инженеров водного транспорта. Однако учебу пришлось прервать – ввели плату за обучение.

Родился Б. А. Можаяев 1 июня 1923 года.

От можаяевских мест до Астрахани, по воспоминаниям теперь уже пра-прапрадедов, если пешком, – две пары лаптей. «Астрахань – маленький Вавилон Нижнего Поволжья» (Фридрих Горенштейн) была развилкой. Одни возвращались с заработком в родную деревню, другие шли дальше, в Баку, чаще всего на Нобелевские нефтепромыслы, а брат матери стал штурманом, закончив в 1912 году Нобелевское училище.

Баку мелькнет в финале можаяевского романа «Мужики и бабы», в последних его строках. Роман посвящен крестьянскому бунту против коллективизации в 1930 году. Спустя полвека (1980), заканчивая вторую книгу романа, Можаяев напишет о зачинщике бунта подрядчике Федоре Звонцове: «И только один Федор Звонцов ушел от возмездия. Когда конный отряд окружал бунтовавшее Веретье, он прыгнул на своего Маяка, стоявшего под седлом на крайнем дворе, птицей перемахнул через прясла и пошел низом, по льду Петравки.

За ним погнались с полдюжины вооруженных конников: но не тут-то было! Маяк оказался резвее казенных лошадей, и потом – Петравка сразу за Веретьем круто изгибалась, и не успели бойцы снять винтовки, как Звонцов умчался за кривун.

Тогда они решили скрадывать его и поскакали вперехват, чистым полем. Но перед селом, куда уходила Петравка и куда мчался по льду Звонцов, они попали в сугробы и увязли в них. Так он и ушел в мещерские непроходимые леса.

С тех пор никто не видел его в здешних местах; одни говорили, что он проживал в Баку под чужой фамилией, другие – что ушел за границу.

А жеребец вернулся... Пришел в Гордеево через неделю такой исхудалый, что мослы на костреце выщелкнулись. Отыскал свою усадьбу. Тут и взяли его; утром стоял на пепелище возле старой ветлы, понуро свесив голову».

По свидетельству жены Можаяева, Милды Эмильевны Шноре, вторая книга – еще не конец романа. Можаяев задумывал трилогию. Но третью книгу написать не успел. Однако на том, что написано после 1980 года, лежит печать продолжения, возможно даже до наших дней, а точнее, до 2 марта 1996 года – дня смерти Можаяева. В его очерках, зарисовках, «уличных разговорах» 1990-х годов темной тенью проходят отчетливые сюжеты крестьянских драм уже нашего времени.

В воспоминаниях о Можаяеве³ Солженицын приводит один из эпизодов борьбы Можаяева за русскую деревню – борьбы без усталости и сроков.

«С Полянским⁴ возник у Можаяева долгий спор, опередивший по времени будущий проект “ликвидации бесперспективных деревень” – еще одну великую Катастрофу русского кре-

описях. – Независимая газета. 2001. № 38. 2 марта.

² Борис Можаяев. Автобиография. В кн.: Автобиографии современников. – М.: Журналистское агентство «Гласность». 1998. С. 334.

³ Солженицын А. С Борисом Можаяевым//Литературная газета. 1997. № 8. 26 февраля. См. также в кн.: Борис Можаяев. Земля ждет хозяина. Старые и новые истории. – М.: Русский путь. 2003. С. 19.

⁴ Полянский Дмитрий Степанович (1917–2001). Член Политбюро ЦК КПСС, 1960–1976. Министр сельского хозяйства

стьянства: уничтожение сельской жизни на русских просторах, где после катка коллективизации все еще держались вымирающие обезлюженные деревни и все новые избы глуше-ли покинутые, забивались окна досками. Боря узнал о проекте – и вступил в тревожный спор за еще один деревенский рубеж, как бы уже не последний. Полянские аргументы цекистские были: мы не настолько богаты, чтобы поддерживать дороги, коммуникации, электропередачу в каждой избе (где вы, “лампочки Ильича”?), будем переселять поближе и селить крестьян в четырех-пятиэтажках, это намного дешевле. Тщетно колотился Боря доказать, что крестьянин на этаже, без надворных построек и своей живности, стаснет, не утешат его эти “городские удобства”. Не брало. Доказывал: вместе с этими “остатками” деревень мы потеряем огромную площадь плодородных угодий, их никакой казахстанской целиной не вознаградишь. Саму Россию – бросаем! Не брало. Слепоглухие цекисты (возгласившие себя уже и “русскими патриотами”) катили на сельскую Русь – последний каток».

Длящаяся крестьянская катастрофа терзала Можаева до его последнего часа.

«Родители мои были крестьяне, – вспоминает Милда Эмильевна (ее воспоминания – это запись устного повествования⁵). – Крестьянская семья. Мы жили на самом берегу. <...> Хуторов пять вдоль моря и среди них – наш хутор Уки. Наша семья жила здесь с XVIII века, где-то с пятидесятих годов. Прадед мой умер молодым... У него было трое сыновей. Старший сын Янис, мой дед, – ему тогда было всего 17 лет – сумел стать капитаном дальнего плавания и поднять своих братьев. <...> Средний сын Петерис был одним из первых латышских “крестьянских” капитанов, пересекших Атлантический океан на паруснике, построенном на нашем побережье, рядом с нашим домом. Петерис был не только мореходом, у него были широкие научные интересы». Далее Милда Шноре приводит сведения из латышского энциклопедического словаря, где перечисляются заслуги Петериса Шноре в мореходстве: под его началом в 1887 г. в Ла-Плату отправилась 3-мачтовая шхуна «Рота» – один из первых латвийских кораблей, совершивших плавание в Америку. Он составил и издал на латышском и английском языках «Лексикон телеграмм для моряков (Telegraphic Code)». Разработанное Шноре спасательное снаряжение изготавливалось из щетины северного оленя и резиновых мячей. Он был капитаном российских кораблей на Тихом океане, служил на японском судне, занимался астрономией и математикой, был членом французского астрономического общества, которому его рекомендовал К. Фламарион, знал более 10 европейских и восточных языков, в том числе китайский и японский...

В доме, рядом с которым Петерис Шноре построил парусник, пересекший Атлантический океан, Можаев за 21 день написал своего «Кузькина». Там же – и повести: «История села Брёхова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным» и «Полтора квадратных метра», а также некоторые из рассказов, составившие цикл «Старые истории».

Переплетение в судьбе Можаева двух стихий – моря и земли – не вымышлено, не книжно и тем более не декоративно. О море он не писал, но земля, особенно дальневосточная и рязанская, подчинила себе его талант. Он ездил в разные края: и на Алтай, и в Крым, и в Нижний Новгород, и на Амур, а когда открылись границы, то и Англия, и Нидерланды, и Финляндия, и Уругвай попали в зону его земледельческих интересов. Он вбирал в себя знания о земле и землеустройстве, куда бы ни заносила его судьба. И чем больше он ездил, тем более широким и укорененным в личности становился его кругозор. Герои Можаева формировали его личность неотвратимо, словно желая оставить свой слепок. Можаев был скор на защиту, но и он знал, кому отдавать честь и поклон. Невероятная его образованность, в области истории и практики российского земледелия особенно, в сочетании с энциклопедическими познаниями в области

СССР, 1973–1976.

⁵ Шноре М. На хуторе Уки//Дружба народов. 2000. № 10.

крестьянского дела и быта – знаниями не только благоприобретенными, а нажитыми и вколотыми в плоть и дух его по крови и по младенческому еще опыту, давали ему такую свободу, естественность и вольность ориентировки, что его защита земли и земледельца обретала фундамент и право на атаку.

«Разговоры с Борей были мне всегда интересны и полезны многими сведениями, – пишет Солженицын, – хоть новейшими сегодня, хоть давнейшею крестьянскими, хоть различием каждой травки и каждой птички, – а главное, так легко он все это рассказывал, оставаясь и полностью приимчив к собеседнику».

Эта свобода знания, даваемая его основательностью, открывала Можаяеву горизонты, но не приносила победы.

«Носился он то луга загубляемые смотреть, то в рязанские и московские редакции статьи печатать, да их запрещали как горькую контрреволюцию – ну тогда хоть выступать где-то, живых людей убеждать, не все же с ума сошли?! (а выглядело внешне: как будто – и все сразу), – пишет Солженицын. – Сколько он на это сил потратил, сколько отношений с начальством испортил! Он брал на себя тяжести, как бы не соразмерив их веса. И – нес, так и не соразмерив. <...>

<...> Сколько ж, за жизнь, перегорачился он, сколько бился обо всем правильном, нужном, общем, – кто его послушал? что он спас? Такие наши власти были, такие и остались!» – горестно заканчивает Солженицын свои воспоминания в 1997 году в первую годовщину смерти друга⁶.

Три гибели (из «Лесной дороги» и «Живого»), как «Три смерти» у Льва Толстого, дают представление о силе можаевского искусства, которое оставалось победоносным – независимо от того, какая власть на дворе и принесло успех или нет очередное можаевское стояние.

Гибель рыбы, гибель дерева и гибель человека, по счастью, не свершившаяся:

Мы остановились на обрывистом берегу. Неширокая порожистая протока была завалена кругляком, коряжником и кетой. Оседавшие на галечных перекатах заломы из выворотней, бурелома да почерневших коряжин обросли за лето свежими бревнами и сплошь перегораживали течение. Перед заломами вода кишела кетой; сильная рыба тараном шла на бревно, билась хвостами о галечные отмели, выпрыгивала из воды, сверкая радужным полукружьем, старалась перемахнуть через высоченные заломы, плюхалась снова в воду и опять шла на приступ.

Выбившись из сил, в кровоподтеках и ссадинах, она отходила к берегу и здесь, раздвигая трупы своих братьев, торопливо разбивала хвостом один из продолговатых бугорков, выбрасывала оттуда уже политую молоками икру своих предшественников, выметывала сама икру в эту ямку и, не успев как следует зарыть ее, тут же умирала. Вода красная от икры; отмель усеяна сдохшей рыбой.

Закатное солнце тяжело плавало над лесными вершинами, и в этом медно-красном свете рыбины казались окровавленными.

Мы долго молчали и смотрели на это мрачное рыбье побоище.

Затихли отдаленные глухие раскаты – видать, вальщики закончили работу.

Ветра не было – ничто не шелохнется. И только редко и жирно каркали вороны; они лениво перелетывали над протокой, садились на прибрежные кедры и сердито кричали на нас.

– Хоть бы вы растащили эти заломы, – сказал я Пассару.

⁶ Солженицын А. С Борисом Можаяевым, Указ. соч. С. 11, 24.

– Нам некогда... Людей нет. И очень бесполезно.
(«Лесная дорога», 1964)

Перед ним метрах в ста качнулся и стал валиться высокий кедр; сначала он вроде бы застыл в наклонном положении, и казалось, что он еще выпрямится и его тупая, словно подстриженная небесным парикмахером, вершина снова появится в оголенном проеме. Но, помедлив какое-то мгновение, тяжелыми косматыми лапами погрозил он, опрокидываясь, небу и быстро пошел к земле, со свистом рассекая воздух, по-медвежьи с треском подминая долговязый орешник, и с пушечным грохотом ударился наконец оземь. Гулким стоном отозвалась земля, и долго, как смертный прах, парило в воздухе облако снежной пыли. И в наступившей тишине было жутко смотреть на этого поверженного недвижимого, точно труп, лесного великана, на мотающиеся обломанные, как косталыжки, ветви орешника да трескуна, на пустой, как прорубь в пропасть, небесный проем, который еще мгновение назад закрывала кудлатая голова кедра.
(«Лесная дорога»)

Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной, двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении – на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Крутом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.

Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз...
(«Живой», 1964–1965)

Можаяевская патетика скорбна, но лишена надрыва. Его письмо, при всей многоцветности и стремительных перепадах от восторга к желчи, от сатиры к печали, от воздуха к безысходности и духоте, находится под постоянным напряжением его насмешки, гнева и пытливейшего ума. Его радостное приятие природного порядка вещей, его любовь к здоровью и здравости подернуты тревогой и ожиданием срыва. Мятежа он не жаждет, но он дитя мятежного времени.

Возможно, однако, что эта чуткость на срыв, рожденная тем мятежным временем, и породила в можаяевских вещах избыточные описания цветущего порядка нормальной хозяйственной жизни. Он упивается любой возможностью рассказать, как хорошо, когда хорошо, когда все делается как надо и как заведено – в соответствии с тем, что диктуется землей и опытом. Второй абзац романа «Мужики и бабы»:

Раскалывались проса на девятый, а то и на десятый день после посева, да и то ежели в теплой воде семена мыты. Ходили смотреть, – как они набутили? Ежели белые корешки показались, уж тут не моргай – ломай без оглядки, паши да боронуй, чтобы дружнее взялись да ровнее, раньше травы взошли. Не то прозеваешь, – пустит «ухо» просо, то есть росток поверху, тогда пиши пропало. Замучаются бабы на прополке.

Из третьей главы «Живого»:

– Ну и лето было! Сено в стогах гниет, – сказал Фомич.

– Какие это стога! Это ометы, а не стога. Три хороших навильника – вот и весь стог. Их дождем прошибает. А сверху преют, и поддоннику много остается. Сажают их ноне там, завтра тут... тьфу! – Дед плюнул, бросил окуроч и затоптал его сапогом. – Все луга испятнали. Раньше, бывало, стог поставим – на десяти подводах не увезешь. Вот это стога стояли... Выше дубьев! И всегда на одном месте.

– Это верно, – подтвердил Фомич. – Поначалу меня в колхозе, в нашей бригаде то есть, вершить стога ставили.

– Какой из тебя вершитель! Ты еще сморчком был. Лучше попа Василия у нас в Прудках никто не вершил. И одонья он клал сам. Все снопы клал гузом вниз. Скирду к скирде, бывало, выведет – стоят, как зализанные. Год простоят – и ничего с ними не делается. Мастер был.

– Да-а... Мы его с Воронком брали. Он – председатель комбеда, я – секретарь сельсовета... «Власть, говорит, пришла, матушка. Собирайся!» – «Нет, говорим, только тебя, отец Василий, одного до сельсовета». – «А там уж ждут нас обоих», – говорит поп. И точно. Там уж уполномоченные ждали его, из района приехали. Все знал. Пронзительного ума был человек.

Умение, мастерство, сметка и хватка, сноровка и виртуозность – это область можаевской художественной свободы. Здесь он зорек и неисчерпаем. Здесь его мера вещей и мера доверия. Здесь своеобразие и своеволие, нрав и характер тех его героев, кто не пропустил шанс свободного безнадзорного труда и пошел на риск сделать, построить, утвердить, на риск созидания на поле или на клочке. Это могли быть герои реальные или вымышленные, герои очерков или рассказов, или романа, но бесстрашие, азарт, или лучше сказать, вдохновение и самозабвенная самоотдача – исходные свойства их натуры, притягивающие к себе вдохновение самого Можаева. Это обоюдная тяга. И праздник на его страницах, когда можно таких людей показать. Такие праздники игрались в начале 1960-х: «Земля ждет хозяина», «В Солдатове у Лозового» и др., когда забрезжила было свобода и разрешены были звенья и семейный подряд. Спустя тридцать лет, в наше время, когда отчаянно пробивались первые фермеры, он вспомнит о тех преданно и горько: «Да, опыт Никиты Оверченко (Хабаровский край), Николая Ивановича Лозового (Восточный Казахстан), Василия Андреевича Рындина (Ставрополь), Валентина Ивановича Папкова (Подмосковье), Антона Дугинцева (Амурская область) и десятков тысяч других по закреплению земли и техники за безнарядными звеньями дал прекрасные результаты. Но почти все эти реформаторы были замордованы, задавлены бюрократией за непослушание. Это у нас! А в Китае этот же опыт закрепления земли и техники за семьями, перенятый от нас в 1978 году, дал прекрасные результаты: за два-три года Китай вырвался из тисков фаланстеров и коммун, из голода и нужды и взял такой разгон, который нам и не снился» («Искушение», 1992)⁷.

Приступая к повествованию о Лозовом, Можаев пишет:

⁷ Рассказы и очерки Бориса Можаева 1990-х гг., посвященные деревне, публиковались преимущественно и систематически в газете «Труд». В 1995 году в издательстве «Труд» была выпущена книга: Борис Можаев «Затмение». Рассказы. Очерки. Редактор В. В. Щуров. Сразу после выхода книги в «Труде» была опубликована статья Б. Можаева «В поле бес нас водит, видно» (Вместо предисловия к новой книге)// «Труд». 1995. № 56. 31 марта. В 1995 году, когда Б. А. Можаев стал главным редактором нового журнала «Россия», в первом номере – единственном, который он выпустил, – была опубликована его статья «Земля и воля» (Нижегородские заметки) – об аграрной реформе в Нижегородской области. Рассказы и очерки 1990-х гг. вошли в книгу: Борис Можаев «Земля ждет хозяина. Старые и новые истории». – М.: Русский путь. 2003. Составитель Инна Борисова. Художник Григорий Берштейн. Книга издана при поддержке Русского общественного фонда Александра Солженицына. Одна из последних работ Б. А. Можаева – «Как же нам жить?» – была опубликована в журнале «Российская Федерация». 1995. № 1, 2.

«Ах, эта извечная, мятежно-сладостная тяга к самостоятельности да независимости. Независимость! Слово-то вроде бы и не важное, как говаривал Пушкин, да уж вещь больно хорошая. Это поразительное свойство характера русского мужика – идти хоть на край света и на свой страх и риск, брать дело по нутру да по силам, вживаться в незнакомую природу, в инородную стихию и, подлаживаясь к ней, подчинять ее не силой, а сноровкой да сметливостью – приобщило к нашему государству восьмую часть земного шара под названием Сибирь. Это обаяние деятельной русской натуры я испытал в полной мере в Солдатове, особенно в свой первый наезд».

Уход Кузькина из колхоза и попытка прожить вне его – это дерзость, равновеликая бунту. Масштаб не тот, и потому категории выглядят другими. На самом деле, природа одна. И тот же результат. Окоченевший Кузькин, уткнувшийся в ворота колхозной фермы, и жеребец Маяк, что был резвее казенных лошадей, а очутился на пепелище своей усадьбы, понуро свесив голову, – финалы одного порядка. Если бы это были финалы...

У Можаяева финалов нет, а есть остановка. И это не в замысле, не в плане, а как бы складывается само собой. Как говорит недооцененный нашей критикой Петр Афанасиевич Булкин («История села Брёхово»): «Интересно, как же я мог написать про сегодняшний день, когда он еще не прошел? Во-первых, надо подождать, пока он пройдет, и посмотреть – что из этого получится. Во-вторых, надо еще написать...»

Чудом пережив собственный конец и даже прутья для кошевок не бросив, (длинные, гибкие, «хоть узлы вяжи из них, хоть кружева плети... Как шелковые»), Кузькин, как в сказке, «опять живой», и автор в последних строках повести признается: «Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая история. А та – кончилась».

Так же и с романом, оставшимся ждать продолжения. О его плане (1969 год) свидетельствует Солженицын: «В эту поездку рассказал он мне о своем замысле «Мужиков и баб», – сперва цветущая деревня двадцатых годов, потом коллективизация и – отметный крестьянский мятеж, который в Пителенской округе произошел в девятьсот тридцатом».

Так же и с романом самого Солженицына «Красное колесо», «главным крестьянским героем» которого должен был стать Арсений Благодарев – писанный с Бориса Можаяева командир партизанского полка в тамбовском мятеже, в Антоновщину. «И не дописан, как всё «Колесо»».

Связь времен ощущалась Можаяевым крайне нелинейно и неоднонаправленно. То, что местом действия его основных вещей стал один район в разные времена, а собственное происхождение и житейские связи позволяли видеть родовые нити в их разных концах, переплетениях, ипостасях и деформациях, делало его видение очень объемным и изобилующим превращениями. Можно только удивляться, как все это удерживалось в одной голове. И еще удивляться – можаяевской ответственности за достоверность: он очень держался правды своего конкретного знания, т. е. не он держался, а это знание держало его при себе и не отпускало. Жизнь словно бы избрала его своим рупором, доверив ему свою разноголосицу и свой хронометраж, а он не смел отступить и транслировал ее до последнего часа. Как говорит у него старший Оверченко («Земля ждет хозяина», 1965): «Земля – дело живое... Вот она, видишь, травка выросла, – указал он на высокий мятлик. – А на тот год здесь все по-другому вырастет, и метелки будут не те. А наше дело – чувствовать, как оно растет, и способствовать этому». Вот по этим метелкам он и различал движение времени. Они его индикатор.

Два можаяевских бунтовщика – Кузькин и Анна Ивановна Прошкина – подались за большевиками чистосердечно и активно. Но они же и отпрянули от большевиков, точнее, власть сама – раньше или позже – отвратила их от себя. И тут уже – в своем самочинном отрицании –

они шли до самого края, до кромки этого края. В нищете с пятью детьми – Кузькин, в нищете и глухом истребительном одиночестве – Прошкина... У Можаяева тяга к этим таинственным судьбам. Он разворачивает панораму их бедствий, дивясь «безграничности человеческого упорства, порожденного любовью к независимости» («Старица Прошкина», 1966).

Казалось бы, на Кузькине, замерзшем у ворот скотного двора, можно поставить точку – и другого финала повести не надо. Но Кузькин опять дышит и опять, как в самом начале, ступает с первого шага, упорствуя купить корову: «Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке...»

И со старицей Прошкиной Можаяев расстается в минуту, когда она, старуха в тряпье и в калошах, притянутых проволокой к заскорузлым ногам, – с молодой командирской выправкой взбирается на высокие бетонные ступени сельского магазина, как в молодости на трибуну, суля расправу вора и расхитителям от местной власти.

Измордованный властью в заштатном городке Рожнове («...площадь в городе была только одна и дворник один. Подметал он ее по теплу, а в холод дворника сажали в тюрьму и площадь заносило снегом») зубной техник Полубояринов из борьбы с соседями за полтора квадратных метра в коммунальном коридоре выходит, однако, победителем. «Правда, он постарел, сгорбился – ходит с палочкой» («Полтора квадратных метра», повесть, 1970). Но что неудивительно для можаяевского героя, он как выступал с инициативами по совершенствованию жизни в городке, так и остался выступать, не потеряв ни самостоятельности, ни разума, ни бесстрашия.

Сцена из эпилога:

Первый секретарь вызвал меня. Молодой человек, обходительный... <...> Я ему: щебенку за полтора верста возим, а возле дороги под Рожновом целая каменная гора. Весь Рожнов из нее построен. Ставь дробилку и молоти. Тут щебня на дорогу-то хватит аж до глухой Сибири.

– А он что?

– Согласен, говорит, Павел Семенович. Но учтите такую, говорит, позицию – дорога-то республиканского значения, карьер местный. На него плана нет.

А у нас самих ни денег, ни оборудования. Да ведь и не больно возьмут они нашу щебенку: у них по смете проходит касимовская.

«Эта извечная, мятежно-сладостная тяга к самостоятельности и независимости»... Оттенки и разновидности этой мятежной породы в можаяевских персонажах бесчисленны и несводимы ни к одной судьбе, ни к одному знаменателю.

«Живет она теперь как Серафим-пещерник», – говорит про Анну Ивановну тетка рассказчика, посылая его к своей старой подружке. «Не знаю, в какой пещере жил старец Серафим, – размышляет племянник, – но в этой кладовой он долго бы не протянул. Окно маленькое, за железной решеткой, пол земляной, стены холодные, мокрые». Земля, по которой ходит Анна Ивановна и на которой стоит ее изба, где потолок – из жердей, пол – из старых кадушечных досок, а стол и скамьи – из березовых палок, – это засечная полоса, граница Рязанского княжества, «древний лесной край». Разбойник Кудеяр, принявший постриг, разинская вольница под командованием Алены, ставшей потом старицей («Разина взяли, а ее не смогли – ни московский воевода Долгорукий, ни посланный ему на помощь князь Волконский»), – «добрые сказки с желанным концом»: «...монастырь построила. Сама камни клала и “кумполо сама выводила”».

Пролагать тут поспешные параллели – это легкий соблазн. Параллели слишком однозначны и тривиальны. Зигзаги судеб и причуды натуры обращают это сообщество бунтующих

и смиренных искателей истины в крошечную смесь. Не предсказать, не предвидеть, каким ликом они обратятся к вам вскоре или потом.

В конечном счете Анна Ивановна Прошкина дает нам возможность понять ее легендарных предшественников в неменьшей мере, чем они помогают понять нам ее. Их переменчивость и обоудный свет Можаев фиксирует все с той же осмотрительностью и тщательностью документалиста. Предание и реальность доверяют друг другу и не боятся несовпадений. В разнотечениях отпочковывается новизна.

Можаевское повествование – роман это или зарисовка уличной стычки – разворачивается как массив жизни. Смотря что подвернется – кусок, комок массива или целый его пласт. Тяготение Можаева к обстоятельной повествовательности, при точных реалиях места и времени, которыми он оперирует свободно, будто все они случились с ним самим, создает ощущение безначальности, беспредельности повествования и его отрешенности от рамок и норм текущей реальности. «Свое стояние за деревню Можаев не уклонял ни в какую идеологию», – замечает Солженицын. «Истинный писатель не имеет права на такую забаву, как участие в межпартийной перепалке, – подтверждает сам Можаев. – Для нас есть только один ориентир – правда жизни, то бишь то состояние, в котором пребывают народ и государство. Да и стыдно сидеть сложа руки...» («В поле бес нас водит, видно», 1995).

Это прямостояние повествователя, обозначая дистанцию между сторонами, не снижает напряжения между позициями. Кажется, что любой встречный может включить его в поток и шум времени, а дальше – куда понесет. Но повествователь независим от своих персонажей и подчиняется лишь воле потока. Это – внутренняя эпичность, при крайне скупых жанровых формах, как правило. Отсюда ощущение, что автор подключен к творимой истории и любая его запись это кратковременная отлучка с места событий – ведь «во-вторых, надо еще написать».

Мандельштам говорил о конце романа, о том, что «современный прозаик становится летописцем и роман возвращается к своим истокам – к “Слову о полку Игореве”, и летописи, к агиографии, к “Четьи Минеи”»⁸. Можаев – на стремнине этого процесса. Он не ждал, когда жанр устоится. Жанр зарождался и очищался в нем – чем быстрее уходил он от процесса литературного, от его клише и дисциплины. Ранние его вещи – дальневосточные – это отважный и озорной взлом принятых структур. Всю жизнь – до последний больницы впритык – он отправлялся в ближние и дальние командировки не «изучать жизнь», не за материалом «для моей прозы», а туда, куда звало его место, время и интуиция. У Можаева жанр не знает рубежей: между очерком и рассказом, между хроникой и романом. Рубежи эти размываются жизнью и раньше всего – стихией ее языка.

Ни яркая личность, даже если реальная, ни сюжет, даже если это лихая интрига, попавшая в руки, так мгновенно не соблазняют Можаева, как живая речь. Язык его бесчисленных персонажей проявляет их личность раньше, чем проявятся ее свойства, а свойства сформулируются в поступки. Но и тогда язык останется многовариантней наших впечатлений и оценок. Развилки сознания и психологии, фиксируемые живой речью и в живом собеседовании, у Можаева неисчислимы. Речь первоначальна. Он сравним тут с Гоголем и Андреем Платоновым. Та же внезапность зигзагов и прихотливость петель и поворотов. Та же нестихающая, неукротимая парадоксальность.

Кажется порой, что можаевские герои сами ведут свою летопись. «История села Брёхова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным» (1968) в такой же мере сатирична, как и документальна. Повествователь вполне строг и откровенен. Выкарабкавшийся из низов в начальники разновеликого уровня, Булкин честный свидетель и от лица власти, и против нее. В небольшой повести внятным пунктиром и на одном дыхании разворачивается энциклопедия сельской жизни на протяжении нескольких советских десятилетий, изложенная языком этой

⁸ Мандельштам О. Слово и культура. Статьи. – М.: Советский писатель. 1987. С. 262.

жизни и от ее лица. Характер брёховского летописца не двуликий, а двуединый. Достоверный и убедительный в любой ипостаси. Оттого Булкин и хорош в летописцах.

Повесть «Живой» тоже начинается как хроника рода, т. е. как хроника времени. Первоначальное ее название, зачеркнутое автором, – «Жизнь Федора Фомича». Название «Живой», написанное поверх зачеркнутого, определяло характер и судьбу героя. И жанр обозначен тогда же – повесть. «Из жизни Федора Кузькина», название, данное повести при первой новомирской публикации, по цензурным соображениям вынужденно смягчало дразнящий азарт авторского «Живого», оставаясь, однако, в пределах первоначального замысла.

Многоголосие, полифония – в природе художественного дарования Можаяева. Описание колхозного собрания по поводу пенсии (рассказ «Пенсионеры», 1965) становится одним из маленьких шедевров Можаяева. На десяти страницах – воинственная перебранка стариков, одному из которых «второй годок после сотни», по поводу пенсии в 15 рублей. Перебранка друг с другом и с местной властью. Скорбное свидетельство режима и эпохи, изложенное еще и с озорством.

Язык у Можаяева всегда неукротим, особенно когда шум и толчея, поскольку любую возможность дать своим землякам поговорить Можаяев расценивает как шанс воли.

О второй книге романа «Мужики и бабы» (восстание крестьян против коллективизации) академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов писал: «Борис Можаяев нашел свой прием раскрытия именно массового характера борьбы. Здесь действует народ. Политический авантюризм принял настолько широкие масштабы, что преодолеть его, сломать его, вернув деревню на путь закономерных, естественных социальных преобразований, может лишь массовое движение народа⁹.

В этом Можаяев наследник прежде всего толстовской традиции русской литературы. Эта традиция оживает как художественное явление, когда общественное сознание выталкивает массу на площадь. Художественное чувство – чувство сейсмическое – улавливает зарождающиеся толчки будущих потрясений задолго, когда еще неизвестно, заглухнут эти толчки, уйдут в земную толщу обратно или пойдут нарастать. Можаяев обладал обостренным слухом на эту сейсмичность.

Еще задолго до того, как были задуманы «Мужики и бабы», – в 1954 году – маленькую дальневосточную повесть «Власть тайги», одну из самых ранних его вещей, Можаяев завершает вопросом: «Он вас гнул, а вы терпели... Так неужто ж вам нравилось его самоуправство?» Со смерти Сталина прошел всего год, и для Можаяева этот вопрос естественен. Он и героя своего, самоуправного бригадира сплавщиков, называет Рябым – ассоциации тут откровенны. Но вот ответ: «Не нравилось, – ответил Ипатов. – А если терпели, значит свернуть ему шею время не подошло... не накалило». «Не накалило», – повторяется этот ответ спустя полстраницы.

Направление мысли молодого Можаяева и сфера его художественных исканий определяется тут достаточно внятно. Он займется тектоникой народного сознания. И то, что мы станем читать у него в предстоящие ему 40 лет, так или иначе будет связано с исследованием глубины этого сознания и динамики его возможностей.

Спустя три года после окончания романа «Мужики и бабы», защищая в 1983 году в Главном управлении культуры Мосгорисполкома «Бориса Годунова», спектакль Юрия Любимова в Театре на Таганке, Можаяев скажет: «Мне кажется, у Пушкина народ представлен и поступает, может быть, и не так, как следовало бы, но в силу обстоятельств он не мог поступить иначе. Это есть внутреннее выражение протеста и понимания того, что происходит. А безмол-

⁹ Академик ВАСХНИЛ В. А. Тихонов решительно поддержал вторую книгу романа «Мужики и бабы» в пору, когда от ее публикации отказались ведущие московские журналы: «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Москва», «Наш современник». Опубликовал вторую книгу журнал «Дон» (1987. № 1,2, 3) с предисловием В. А. Тихонова. См. об этом: А. Солженицын с Борисом Можаяевым. Указ. соч. С. 21.

вие народа говорит о том, что народ достаточно хорошо понимает ситуацию. Сейчас он не мог не безмолвствовать, а через полгода мог...

Народ – море, народ – океан. В нем всплески. Ваши нападки, связанные с осуждением, – неуместны».

Так он сам определил масштаб и образ своего видения мира.

Дальний Восток войдет в творчество Можаяева соединением тайги и океана. Океан как масштаб. Тайга как хранилище природных богатств и сплетение человеческих судеб – бродяг и строителей. И тоже как масштаб богатств и возможностей края. Его собственная судьба – судьба военного, флотского инженера – началась и закончилась на Дальнем Востоке. Но инженерный подход, подход конструктора и строителя, остался в нем на всю жизнь и осветил все его творчество. Так же и судьба российского флота осталась ему кровно близкой до самых последних дней жизни. Его последняя командировка – в Севастополь, где он жил на корабле. Его последняя работа – «Крымские страдания»¹⁰, законченная за два месяца до смерти. Она так и начинается: «Я, бывший офицер флота, отслуживший тринадцать лет и ушедший в запас в звании старшего инженер-лейтенанта, нет-нет да и погружаюсь в заботы и нужды того бедственного состояния, в котором оказался наш флот после вульгарной растащиловки великой державы». Следующей после Севастополя, уже так и не состоявшейся командировкой должен был стать снова Дальний Восток. Он мечтал об этой поездке, рвался туда.

Есть одна особенность, сближающая две повести, написанные на Дальнем Востоке: «Тонкомер» (1956) и «Наледь» (1959). И в той, и в другой герой уходит от порчи, когда к ней вынуждают. В «Тонкомере» он не хочет портить лес. В «Наледи» не хочет строить поселок для горняков – в месте, по природным условиям, для жилья не пригодном. На Дальнем Востоке окреп, а возможно, и выработался можаяевский подход к жизни – будь то жизнь природы или жизнь человека. Он защищает и то, и другое. И друг от друга их защищает тоже.

Вот два пейзажа, на которых стоит «Наледь».

Весна в этом году на Тихом океане была ранняя; еще в апреле на речных разводьях и по болотистым распадкам зазеленели красноталы, потом тронулся, закурчавился подлесок – черемуха, жимолость, амурская сирень; но монгольский дуб еще долго держал прошлогоднюю жухлую листву, отчего прибрежные сопки до самого мая сохраняли красноватый ржавый оттенок, точно они были железными. Но майское солнце здесь горячее, и, несмотря на холодные ветренные зори, мало-помалу доверчиво раскрылся и монгольский дуб и сразу все заполнил своей широкой густой листвой, и скрылись в его округлых кущах все еще нагие голенастые ветки маньчжурского ореха и колючие сучья аралии, цепкие, точно пальцы. А к июню не выдержали и эти нежные недотроги и выбросили, как стрелы, редкие перистые листья.

Другой пейзаж в то же самое время года, но выше в горах, вверх по ущелью, в пойме рвущейся из-под земли «сумасшедшей реки» Снежинки. Здесь и планировалось строить жилье.

От самой кромки противоположного берега, сплошь покрывая неширокую речную пойму, поросшую низкорослым жиденьким леском, потянулась наледь. Из ее ноздрястой грязной поверхности торчала клочковатая бурая щетина застарелого бурьяна, отчего наледь смахивала на

¹⁰ «Крымские страдания» – дилогия, состоящая из статей: «Некоторые соображения о малой родине» и «Куролесица. Кривотолки вокруг истории России». Опубликовано после смерти Б. А. Можаяева в журнале «Дон», 1996. № 7, а также в книге: Борис Можаяев «Земля ждет хозяина. Старые и новые истории» – М., 2003. См. об этом: А. Солженицын. С Борисом Можаяевым. Указ. соч. С. 24.

шелудивую шкуру издыхающего зверя. Она все еще была толстой и крепкой, от нее веяло холодной сыростью и горьковатым грустным запахом оттаивающей ольховой коры. Все эти прихваченные наледью деревца стояли трогательно обнаженными и по сравнению со своими рослыми зелеными собратьями на склонах сопок выглядели какими-то жалкими недокормышами. Все здесь было запоздалым и почти ненастоящим: ольха казалась голенастой, и крохотные зеленые листики удерживались на ней рядом с черными прошлогодними шишечками; тонкие, словно вымученные березки росли кустами и были похожи на картофельные побеги, вытянувшиеся из подполья; на них тоже еле распускались листочки; багульник стоял совершенно голый и цвел вовсю, хотя пора его цветения прошла уже давным-давно – месяца два назад. И только темные ели, равнодушные и к теплу, и к холоду, сохраняли свой обычный вид и достоинство, одиноко возвышаясь остроконечными макушками, да вокруг них теснились стайками маленькие лиственницы, опущенные налетом мягкой хвои.

Ни убедить, ни победить тех, кто заставлял строить поселок в этой наледи, Сергей Петрович Воронов так и не смог. Как позже Кузькин из колхоза, так Воронов уходит со стройки. Сюжет героя, деятельного, честного, с головой, но независимого, – этот сюжет остается с открытым финалом. Автор не задерживает перед Вороновым перспективы, но Воронов возвращается к нулю и с него должен опять начинать. Наледь как омертвление, как образ порочных хозяйственных отношений, непреодолимых в силу их разветвленности и повсеместности, написана Можаяевым как система отношений костенеющая и бесплодная. «Наледь смахивала на шелудивую шкуру издыхающего зверя» – метафора яростная, хотя автор остается в рамках пейзажа, на который глядит инженер:

«Характер наледи оказался тоже очень неприятным.

Если бы она имела определенное направление, ее можно было бы преградить барьером. Но она выростала повсюду и принимала самые неожиданные формы. Здесь, в ущелье, били сотни ключей – грунтовые воды выбивались повсюду. Они неслись в Снежинку и наращивали наледь. “Очень сложные условия. И не столько для строительства, сколько для жизни здесь”, – думал Воронов».

В местных идеологических кругах повесть вызвала скандал. Молодому автору, в ту пору вольному журналисту, грозила статья за тунеядство.

Не прошло, однако, и двух лет, как Можаяев обнаружил на Алтае, в Солдатово, у «трудного» председателя Николая Ивановича Лозового целую плеяду своих любимых героев, но уже реальных. Там, на Алтае, «под сиянием огромной азиатской луны» он впервые скажет о бесценной для него «воле к независимости»: «Уходя на новые земли, русский крестьянин не просто искал святое Беловодье, край изобилия и красоты, он уносил с собой мечту хозяйствовать без помещиков и начальства. Он сам хотел распоряжаться урожаем, плодами своего труда. Он шел на вольные земли, чтобы жить по справедливости, по законам стариков, слушая только землю, принаравливаясь к ней. И великая тяга земли рождалась мудрым законом взаимного послушания хлебороба и поля».

Спустя пять лет, в июльской книжке «Нового мира» за 1966 год, Твардовский публикует повесть Бориса Можасва «Из жизни Федора Кузькина».

На Четвертом съезде писателей СССР (1967), в отчетном докладе съезду, повесть была причислена к произведениям с тенденциями, «далеко не во всем отвечающими правде современности и критериям искусства социалистического реализма. <...> Где силы, которые выражают самые коренные устремления многомиллионной колхозной массы? Силы, которые

противостоят Кузькину, остались за пределами изображения, они как бы отторгнуты по авторскому произволу¹¹, – утверждал докладчик (Г. М. Марков), обращаясь к аудитории, расположившейся в Большом Кремлевском дворце. В правительственных ложах: Л. И. Брежнев, А. Н. Косыгин, М. А. Суслов, А. Н. Шелепин, Ю. В. Андропов...

С поста главного редактора «Нового мира» Твардовский был снят в начале 1970 года – февральский номер последний, им подписанный. Он умер 18 декабря 1971 года. Ни одна газета не обмолвилась о его редакторской деятельности. В сообщении о его смерти – от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров – о «Новом мире» ни слова. В официальном некрологе, подписанном Брежневым и множеством лиц, должность главного редактора вскользь упомянута среди других его обязанностей. Константин Симонов сказал о ней на гражданской панихиде. В печати только Чингиз Айтматов сумел не промолчать: «Твардовскому многие из нас обязаны своей литературной судьбой. Мы все в этот час несем его гроб на плечах» («Литературная газета»). И Мустай Карим – изумительно просто: «Он обладал еще одним редким талантом – быть старшим». И позже, в 1978-м: «В башкирском языке есть слово “эдэп”, что примерно означает высшее приличие, совесть. При нем, в его присутствии не так просто было обходить этот самый эдэп... Слово для него имело только вложенный в него смысл и ничего иного».

Некролог для «Известий» – «Слово прощания», – написанный Б. А. Можаяевым по заказу газеты, помечен 21 декабря 1971 года. Впервые опубликован спустя тридцать лет в газете «Новые Известия» (2001. № 228.18 декабря).

Можаяев писал: «Почти сорок лет его могучее дарование пробуждало в людях сознание своего достоинства, воспитывало непримиримость к фальши, мужество, бесстрашие в борьбе и сострадание к униженным и оскорбленным. Он был певцом высокого ратного подвига уверенного в своих силах народа и мятущегося духа человеческого в поисках справедливости на земле. Крестьянин Моргунок и солдат Василий Теркин – две стороны одной и той же медали, отлитой поэтом из чистого золота людских страданий и надежд. <...>

Твардовский был счастливо наделен судьбою редким даром собирателя народных талантов – за долгие годы, проведенные им на посту главного редактора журнала “Новый мир”, он сплотил вокруг себя великолепное созвездие истинных дарований, украсивших нашу литературу превосходными творениями. <...>

Он был неистовым работником, как тот крестьянский конь Саврасушка, который натягивает гужи, пока не выпрягут. А вывели из оглоблей – он и упал».

Когда у Твардовского отбирали «Новый мир», Можаяев возглавил группу писателей, тщетно требовавших от ЦК партии оставить Твардовского на посту его главного редактора.

На повесть Можаяева в «Новом мире» внимание Ю. П. Любимова обратил, по его признанию, Николай Эрдман. Спектакль, поставленный по этой повести, Любимов считал одной из главных удач и главной трагедией Театра на Таганке. Спектакль был запрещен. Многочисленные «прогоны» сделали его известным всей театральной Москве, но к широкой публике он не был допущен. Лишь спустя 21 год – в 1989-м – спектакль был восстановлен. В планах Любимова, когда он в 1988 году вернулся в Россию, «Живой» стоял на первом месте. Роль Кузькина исполнял Валерий Золотухин – и в 1968-м, и в 1989-м.

Несколько фрагментов из аудиозаписей разных лет – о Можаяеве в Театре на Таганке, о том, как истребляли «Кузькина».

Валерий Золотухин (6 марта 1996 г. – день похорон Б. А. Можаяева).

¹¹ Четвертый съезд писателей СССР 22–27 мая 1967 года. Стенографический отчет. – М.: Советский писатель. 1968. С. 14, 15.

По случаю приезда Фурцевой¹² театр был объявлен «на режиме», а мы, молодые актеры, не знали даже, что обозначает слово «режим». Была охрана вокруг театра, не пускали мою беременную жену. Демидова смотрела из осветительской будки – какая-то была жуть. Но это мы тогда не понимали. И это было 6 марта 1969 года. Сегодня 6 марта 1996 года. Какое-то совпадение жуткое. Я пошел перед этим в церковь. Отпевали старуху.

Я спросил, как ее имя – Анна. Мне показалось, что прозвучало – Федор. Я прошел в театр. В театре был один человек – Любимов, который стоял среди березок и бросал мой реквизит, то есть эти былинки кидал, колокольня висела и он крестился. Я остановился с ужасом, потому что он член партии был. Крестился и что-то шептал в это время. Очевидно, он молил, чтобы Фурцева пропустила ему спектакль. И это было 6 марта.

Для нас Можаев тогда, для молодого поколения, – теперь мы все деды и бабушки – был эталоном чести, благородства. Он развертывал всегда человека так, даже его врага, что враг высвечивал свои добрые стороны, становился лучше хотя бы на тот момент, когда Можаев с ним разговаривал. Это было удивительное качество Можаева. Мы соревновались, кто лучше поет, кто лучше играет. Много было огромно светлого, просто великого – присутствие Можаева в нашей жизни, в нашей действительности.

Юрий Любимов. Он замечательно вел себя, Борис, но он наивный был в чем-то человек. Он меня покорила, когда Фурцева кричала, и никого в зале не было, и какой-то молодой чиновник вскочил и начал говорить всякие гадости. Вдруг встал Можаев – сидели все чиновники, замминистра и так далее – мало их было, человек пятнадцать, пустой зал, никого не пустили, даже композитора не пустили, Эдисона Денисова. Вознесенский пробрался, но она сказала: «А вы уж сядьте и помолчите». Он, бедный, заткнулся, как говорят на молодом сленге. И вот когда этот чиновник молодой стал подсюсюкивать мадам и стараться нас клеймить всякими словами: антисоветчики, глумятся над народом... Тут Можаев вскочил и сказал: «Ай-яй-яй! Сядьте, молодой человек!» И Кате (Е. А. Фурцева): «Неужели вам, министру, не стыдно, кого вы воспитываете – жалких карьеристов!» Тот: «Как вы смеете!» – «Сядьте, я вам говорю!» И был у них шок, и минуты две они в растерянности слушали. Потом спохватились, начали кричать на нас. Катя закричала: «Вы думаете, с этим «Новым миром» вы далеко уйдете?» – там на сцене висел на березках «Новый мир», в котором была опубликована эта повесть Можаева. А я не сообразил, сказал: «А вы думаете, что вы со своим “Октябрем” далеко ушагаете?» А она поняла, что я говорю это про Октябрьскую революцию, а не про журнал кочетовский. И тут она закричала: «Что же это такое! Я сейчас же иду докладывать Генеральному секретарю...» Побежала, манто упало... Она все-таки была дама. Потом она кричала там уже, внизу, – я не пошел ее провожать, и пальто не подал, которое упало, рассердился очень. И она кричала: «Нахал какой! Он даже не проводил до машины, негодяй!» Так что она все-таки по сравнению с химиком Петром Нилычем...¹³

Тот так милостиво сказал: «Пусть идет». Потом приехал в министерство – и запретил. Дали нам 90 поправок, потом 70, потом мы попали к Зимянину¹⁴ – там был крик. Он катил бочку на Бориса: «Этот закоренелый антисоветчик, матерый подрывник наших основ марксистско-ленинских, народник жалкий...»

Валерий Золотухин. Каждую третью весну Любимов возвращался к «Живому». По весне рубили березки и привозили их в театр. Проходили какие-то пленумы с какими-то общими словами, но эти слова давали зацепку Любимову и Можаеву написать очередное письмо и затеять очередную кампанию с «Кузькиным», хотя ничего кардинально не менялось.

¹² Фурцева Екатерина Алексеевна (1910–1974). Секретарь ЦК КПСС, 1956–1974. Министр культуры СССР, 1960–1974.

¹³ Демичев Петр Нилович (р.1918). Член ЦК КПСС, 1961–1989. Секретарь ЦК КПСС, 1961–1974. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 1964–1988. Министр культуры СССР, 1974–1986.

¹⁴ Зимянин Михаил Васильевич (1914–1996). Главный редактор газеты «Правда», 1965–1976. Секретарь ЦК КПСС, 1976–1987. «Правда» – орган ЦК КПСС.

Юрий Любимов. Последняя попытка восстановить «Живого» была в 1975 году, уже с Демичевым.

Валерий Золотухин (из интервью журналу «Россия», 1997).

Единственно, что я помню, что это был один из тех прогонов, когда яблоку негде было упасть. Когда я вышел, что меня просто поразило – я никогда не видел столько золота, да еще волнение, свет, я был просто ошарашен... от этих медалей, орденов, я видел такое количество золота на один квадратный сантиметр, наверное, впервые. Начался спектакль, и он шел потрясающе. На просмотрах было обычно ну 150–200 человек, это одна реакция. А здесь было 600 человек – помню смех, шум в зале, очень горячий прием, аплодисменты. И я готовился, конечно, въехать на белом коне. Когда началось обсуждение, я сел на сцене, как победитель. Я был, как Кузькин, в гимнастерке, как он на суде, начистил медали...

Но тут все очень быстро пошло наоборот. Помню недоумение, растерянность на лицах Любимова и Можаяева... Такого подготовленного, массового, мощного натиска, когда на белое говорится – черное, когда люди смеялись, плакали сначала, а потом говорили нечто совершенно заготовленное, вспоминая про свой партбилет... это была чудовищная акция, потому что если раньше спектакль закрывали сами чиновники, то теперь они подготовили мнение народа. Руками народа закрывался спектакль «Живой», руками специалистов по сельскому хозяйству.

Спустя три-четыре года меня пригласили на один племенной завод, в Подмоскovie. Попросили выступить в профилактории, спеть старушкам «Ой мороз, мороз...». Было человек 50, стол накрыт, а одно место свободное. Через пятнадцать минут появляется директор. Депутатский значок, Герой Соцтруда. Он мне говорит: «А ведь мы с вами знакомы. Мы однажды встречались». – «Где?» – «Я смотрел у вас очень хороший спектакль». Тут до меня доходит, что он один из тех, кто выступал на обсуждении «Кузькина». Самое ужасное, их собрали за две недели, поместили в гостинице, лекции читали, объясняли, какие слова говорить, какие мотивы... а потом написать в Политбюро, чтобы не Демичев и компания, не Министерство культуры, не критика, а кто понимает в сельском хозяйстве, закрыли спектакль наглухо. Я говорю этому директору: «Как же вы сейчас так хвалите этот спектакль, а тогда?» – «Да, спектакль был хороший, и нам об этом сказали, но добавили, что именно поэтому его нельзя показывать. Всю правду – народ знать не должен».

Для меня это было потрясение – я вот говорю с человеком, который решал судьбу театра и мою личную. Когда сделали этот спектакль, в театре шутили, что я проснусь после премьеры знаменитым, как Москвин после «Царя Федора Иоанновича».

А сейчас проходит время...

У меня отец председатель колхоза. В 69-м после прогона, после Фурцевой приехали домой, дома отец ждет, он гостил тогда у меня. Я рассказал ему как мог, да разве может он против члена ЦК что-то иметь-говорить – ученый. Я взял балалайку и спел ему: «За высокой тюремной стеною...» Отец сказал: «Вот заодно это надо посадить, такую мрачность разводите». Он очень боялся за меня, что я в Москве со своим языком доиграюсь... «Посадят, посадят, посадят...» – без конца говорил. Всю жизнь прожил в страхе и поступал подчас так же круто, как иные Гузенковы, как Пашка выгонял людей бичом из-под бричек. Но и укрывал в сорокаградусный мороз свиноматок своей дохой – скотные дворы были раскрыты. Помню наезды энкавэдэшников. Дом был наполнен этой драмой. Это была трагедия не только Кузькина – трагедия, может быть, большая, заключается в Гузенковых, в исполнителях, один более рьяный, другой менее рьяный. Мне теперь больше жалко тех, кто закрывал спектакль. Не знаю, кто из них жив. Да и, наверное, трудно пожилым людям отречься от своих убеждений, тем более что наша жизнь дает к тому основания. Не знаю, как сказать, но Тихий Дон еще впереди.

Юрий Любимов. Почему тогда взорвались все против этого спектакля? Потому что удивительная судьба мужика простого совпала с совершенно разными слоями этого странного

социалистического сообщества. Однажды Петр Леонидович Капица, великий ученый... Когда говорили спичи на его золотой свадьбе, я сказал: «Петр Леонидович, самое удивительное в этой стране то, что вам тоже надо быть Кузькиным, а иначе вы ничего не сделаете». И Анна Алексеевна, его жена, дочь Крылова, который корабли строил, академика, у него замечательные мемуары... Так вот, Анна Алексеевна говорит: «Как вам не стыдно, Юрий Петрович! Ну какой же Петр Леонидович Кузькин?» Он поморгал детскими глазками, сказал: «Кузькин, Крысик, Кузькин». Анна Алексеевна была по профессии археолог, кличка у них «крысики». Петр Леонидович прочел «Кузькина», пришел в восторг и сказал: «А вы не можете, чтоб он приехал к нам сюда?» Так же он меня просил насчет Ерофеева Венедикта, так же про Эрдмана когда-то – читал его пьесу «Самоубийца»...

Борис так замечательно написал этот характер, потому что у него черты были кузькинские. Он всегда, даже когда подковали его, все равно быстро на ноги мог встать. Это вообще национальный характер. Ему удалось создать на нашей русской почве такого Швейка своеобразного. У меня аналогия со Швейком – в смысле масштаба, а не в смысле образа. Русский вариант по-своему.

...Умирал Николай Робертович Эрдман. Он умирал очень тяжело, без сознания, бредил, и вот когда очнется от этого ужаса, он начинал говорить об искусстве, о литературе и о театре – вот что поразительно.

Милда Шноре. А Борис все время о стране, то о земле, то о границе, то о флоте, «дали кредиты – ну и что? в чьи руки они попадут?...».

Был у Можаева еще один план, связанный с несостоявшейся командировкой на Дальний Восток. Он тоже произрастал из его дальневосточной молодости. Уже в качестве газетчика бродя по тайге, по ее заповедным и глухим местам, он записал сказки удэгейцев, народа, ведущего свое происхождение от древнейших азиатских народов и населяющего Хабаровский и Приморский края. Эти записи Можаев делал в верховьях реки Бикин, в удэгейских селах Сяин и Олон – от сказителей Екатерины Суляндзига, Сусаны и Екатерины Геонка, Александра Канчуга, Михаила Канчуга, Нядыга Кимонко и других. Их именами наречены герои таежных повестей Можаева. В обработке Можаева сказки были изданы во Владивостоке (1955), в Магадане (1956), в Благовещенске (1959), в Москве (1960).

Когда спустя полвека Можаев стал редактором нового журнала «Россия», одним из его первых редакторских замыслов было представить на страницах журнала поэзию коренных народов России, населяющих ее восточные окраины. Собрать эту поэзию было одной из целей его командировки на Дальний Восток. Он говорил об этом не раз, и в этой сосредоточенности ощущалась насущность важной для него, но еще не разрешенной задачи.

Неизведанные народы манили его, словно неизведанная земля. И удэгейцы, и нанайцы проходят в его дальневосточной прозе персонажами остро характерными – их отличает то сокровенное, идущее от предков и накапливаемое поколениями знание природы, которое завораживало Можаева в чужой охотничьей и земледельческой культуре в той же мере, что и в родной. Для него это всегда чудо – как отличает удэгеец «своего» тигра от пришлого, маньчжурского, или почему в родной рязанской речке сом берет приманку не на шерстяной нитке, а на льняной.

Острый слух на человеческую разноголосицу, в которой он тонко различал разноречивые говоры и диалекты, достигал у Можаева артистизма, и если он вспоминал жену, то сразу слышался латышский акцент, а если речь заходила о старообрядцах в его местах, то он тут же переходил на их говор. О Тихоне Спиридоновиче Колобухине, садовод и правдолюбе (рассказ «Тихон Колобухин», 1970), Можаев пишет:

«Говорил он с корабишинским напевом, растягивая гласные в конце слов: “Нюрка-то, ставь сама-ар!” “Подвывают”, – смеются у нас в Тиханове над корабишинскими. Они, мол,

люди пришлые и прозывались “талагаями”. Одни, говорят, из Латвии переселились, другие – с Кавказа, третьи – из Крыма. Трудно определить, какая легенда наиболее правдива – среди корабишинских жителей есть и медлительные голубоглазые гиганты Лактюнины, похожие на латышей, и бойкие приземистые черноголовые Кадушкины да Колобухины, смахивающие на крымских татар. Воистину русский бог велик.

– Вы родом из Корабишина, – говорю я.

– Как вы отгадали?

– По говору да по внешности.

Смеется:

– Меня на службе то за татарина, то за кавказца, а то и за еврея принимали».

Прежде чем на Тиханово и его окрестности надвинется каток коллективизации, Можаяев в восьмой главе первой книги романа опишет тихановский базар, который устраивали на Троицу. И здесь его праздничное мастерство писать человеческое многолюдье в пестроте уже местных различий достигает полного раздолья. «И пошло с утра, повалило со всех концов в Тиханово великое множество пешего и конного люду: от кладбищенского конца мимо двух церквей вдоль железной в крестиках ограды потянулись “залесные глухарю”. <...>

Обочь залесным, с другой стороны церковной ограды, от Лепилиной кузницы, стоявшей на бугре у въезда в село, вливался в Тиханово другой поток торговых гостей; эти все больше ехали от Пугасовского черноземья, от городской станции далекой железной дороги, ехали по большаку в тарантасах, в бричках, на широких ломовых дрогах, ехали и на русаках, и на битюгах, и даже в пристяжку на паре... <...>

А навстречу этим юго-западным колоннам двигались в село с севера, с востока, с юга такие же бесконечные вереницы людей и повозок. <...>

Вся площадь центральная застроена татарскими дощатыми корпусами: здесь и краснорядцы с шелками да сукнами, с батистом, сатином, с коврами, с персидскими шальями; здесь и татары-скорняки да меховщики с каракулем черным и серым, с кунными да бобровыми воротниками, с красными женскими сапожками с мягкой юфтью и блестящим хромом, с твердыми, громыхающими, как полированная кость, спиртовыми подошвами».

И наконец, последние строки и слова последней можаяевской статьи «Крымские страдания», окончательно завершенной в январе 1996 года:

«На нас словно затмение нашло: все, что было пережито вместе за много веков, забыто в одночасье, а порой искажено и даже оплевано.

Мы свою общую родину не только не щадим, а порой поносим площадной бранью. Очнемся же от этого темного наваждения! Уясним хотя бы такую малость – ничего доброго не сотворишь в площадной перебранке. Ибо основой благополучия народов всегда был и остается – “мир во языцех”».

Инна Борисова

Эту книгу Инна Петровна Борисова, литературный критик и многолетний друг Можаяева составляла в 2005–2006 годах. Она вновь, в который уже раз, перечитывала писателя, подбирая произведения, которые бы позволили в одной книге целостно представить его творчество во всей его сложности. Отказавшись от хронологического принципа, она искала баланс между динамикой движения вперед, расширения сфер интересов и постоянством возвращений к самым значимым, главным темам. В результате получилась живая, яркая и неожиданно актуальная книга, которую, к сожалению, в то время не удалось издать в задуманном Инной Петровной виде.

*Но такой сильный созидательный порыв просто не мог пропасть
бесследно, и нынешнее издание хранит память прекрасного и светлого
человека.*

Анита Можаяева

По дороге в Мещеру



Живой

1

Федору Фомичу Кузькину, прозванному на селе «Живым», пришлось уйти из колхоза на Фролов день. Уж так повелось у них в семье – все несчастья выпадали как раз на Фролов день. Или кто из предков сильно согрешил в этот праздничный день, или двор стоял на худом месте,

кто его знает. Но не везло Живому больше всего именно в этот престольный праздник. «Вам село сменить надо, милок, – посоветовал как-то Живому дед Филат. – Вы люди пришлые... не того престолу, стало быть. Бог-то и забывает вас в этот день. А сатана тут как тут, крутит, значит, свою карусель-от...»

Но Живой и не думал менять село. В Прудках он родился и вырос. Пришлым-то был его дед. Он лапти хорошо плел, а под Прудками лутошки – пропасть. Дед лапти плел, бабка онучи ткала, продавали... Так и скопили денег, срубили себе избу-семиаршинку, в которой и поныне жил Фомич. И расставаться с этой избой Живому было никак невозможно по причине «отсутствия всякого подъема», как он сам говаривал. Зажитка не имел. Отец его и дядя, может, и поднялись бы на ноги, кабы не этот проклятый Фролов день.

Было их три брата: Фома, Николаха и Емеля. С весны отходили они в город, были холодными сапожниками. Хорошо зарабатывали. Однажды на Фролов день сели гулять: подвесили к потолку четверть водки и лили из нее в глиняные кружки. За выпивкой стали горячиться: Николаха запросил у Фомы бабушкин надел земли, доставшийся ей от какого-то бездетного дяди. У Николахи семья была большая, а у Фомы всего один ребенок. Но так как бабушка жила у Фомы, она ему и надел этот отказала. «Зачем тебе чужая земля – ты и свою не обрабатываешь... Отдай!» Ну, слово за слово – и сцепились. А Николаха был такой силы, что упаси господь. Бывало, они с Емелей ездили на реку за колодником. Навалят воз под дугу. Сани завязнут – Николаха распряжет и скажет: «Пусть лошадь померзнет, тады она лучше повезет». Свяжет оглобли чересседельником и сам впряжется. «Ты, Емеля, пошатай сани, а то я с места не возьму». Емеля шатает, а Николаха как упрется лаптями, аж оглобли трещат. Уж коли строшет с места, то и везет до самых Прудков, а лошадь сзади идет.

Так вот они и сцепились, значит, с Фомой. Николаха тиснул его разок и положил на скамью. Тот и притих. Потом с неделю полежал и помер. Так и остался Федор Фомич сиротой. Поначалу, правда, им с матерью Емеля помогал. Да недолго.

Николаха выдавал старшую дочь. Свадьба была как раз на Фролов день. И здесь братья опять погорячились: заспорили, кто больше выпьет? Николаха выпил шестнадцать тонких стаканов. Емеля – пятнадцать. На шестнадцатом стакане свалился под стол и помер.

Это все большие несчастья. Но случались на Фролов день беды и помельче. В двадцать четвертом году Живой, тогда еще подросток, убил свою лошадь. Прежде на Фролов день в Прудках кропили лошадей и объявлялись по такому случаю скачки. Призы ставились: то ведро водки, то баран, то стан колес – мужики миром покупали. Обгонялись на прогоне – широкой неезжалой дороге, по ней обычно скот гоняли на пастбища к лесу. А в тот год как раз на прогоне столбы телеграфные поставили. И были они еще не в привычку.

Фомич стал обгоняться на паре – соседскую лошадь кропить, пристегнул. «Одна отставать станет, другая подтянет», – подумал еще.

Разогнал он свою пару шибко, в азарт вошел – порода уже сказывалась в нем. А с хитрецей гнал: из порядка вывел своих лошадей, да на обочину. Здесь, мол, никто не помешает. И надрал. И как уж перед ним столб вырос, совсем объяснить не мог. Только помнит – летит он прямехонько в столб. И свернуть уж никак невозможно, потому что свой Буланец влево забирает, а соседский Пегач вправо тянет... Перетянул все-таки Пегач. Буланец ударился лбом в столб, а Фомич – кувырком через голову. Когда очнулся, Буланец лежал возле столба уже бездыханный...

Все это вспоминал теперь Фомич, сидя у окошка. В избе было непривычно безлюдно. Ребята ушли в школу, младшие вместе с соседскими табунились на улице – босоногие, а иные и без штанов. Хотя ветерок по-осеннему был свеж, им ничто... Хозяйка перед домом провевала на ватоле гречиху.

Гречиху привезли сегодня с колхозного тока – шестьдесят два килограмма. И это весь заработок на семь ртов? Чем же их кормить целый год?

Вчера вечером председатель сказал: «Пшеницу не ждите – еще и с государством не хватит рассчитаться...» А рожь давно уж свезли, да на семена оставили. Картошки тоже не жди – вымокла. Оно, конечно, кто в поле работал, тот и себя не забывал. Опять же на лугах мужики сеном подражались, да и бабам кое-что перепало. А Живой работал вроде бы экспедитором колхозным – все в разъездах: то мешки добывал, то кадки, то сбрую, то телеги... Мало ли нужд в хозяйстве? Писали ему по два, а то и по три трудовня. По трудовням-то вроде бы и ничего – вместе с женой выколотил восемьсот сорок палочек. А заработал шестьдесят два килограмма гречихи... Как жить? «Чудно теперь платят, – думал Фомич. – Раньше хоть поровну всем давали на трудовень... А теперь – бригадиру оклад больше тысячи, учетчикам да заведующим всяким опять деньги дают, а которые в поле ходят или вот, как я, на посылках, – этим шиш. Кто чего сам достанет...»

Он и раньше догадывался, что трудовень пустым будет, хотел махнуть из экспедиторов куда-нибудь к хлебу поближе. Но прохлопал ушами, прособирался... А теперь уж поздно – все пусто. И аж до нового урожая ничем особенно не разживешься.

Да ведь оно, если с другой стороны посмотреть, не больно и взяли бы его на прибыльную работу: там сила нужна, ловкость. А у него на правой руке два пальца от войны осталось. Не ладонь, а клешня. Конечно, приспособиться-то можно бы... Хоть на подвозке зерна. А там в обед принесешь в рубаше да вечером в карманах. Все-таки поддержка. А теперь чем жить? Своей скотины – одна коза. Что делать? Выходит, один-разъединственный выход – уходить из колхоза.

Трудная для Живого пора пришла с новым председателем Гузёнковым. В прошлом году объединили их колхоз с соседним, правление перевели в Свистуново, а председателя прислали нового, из района. Был он человеком важным, внушительных размеров и знаменитым на весь район. Кажется, все районные конторы по очереди возглавлял. Гузёнков – и председателем райпотребсоюза был, и заведующим заготскота, и даже директором комбината бытового обслуживания. Величали его Михаилом Михайловичем... И все позабыли, что когда-то его звали в Тиханове попросту Мишкой Монтером. Откуда он взялся – никто не знал.

В тридцать втором году старую паровую мельницу, чадившую посреди Тиханова, переделали в электростанцию. Ничто не изменилось во внешнем облике грязного кирпичного здания, похожего на большую кладовую, только железная труба над крышей стала потолще и повыше. И вместо частого попукивания да тяжелого сопения мукомольного паровика теперь из этой кладовой раздавались отрывистые, резкие звуки: «Хх-тяп! хх-тяп!» Словно кто-то там дрова колот да с хрипотцой «хакал». И в такт этому редкому «хх-тяп!» вспыхивали и тускнели на селе электролампочки. А на улицах Тиханова появился в замасленной тяжелой кепке Мишка Монтер. Вскоре его выдвинули в райком комсомола как редкостного в Тиханове представителя рабочего класса. И постепенно Мишка Монтер испарился... Через два года на месте электростанции снова заработал старый мукомольный паровик. А Михаил Михайлович Гузёнков прочно утвердился на руководящей линии.

Случай свел их с Фомичом в первые же дни председательства Гузёнкова. Конечно, виноват во всем Живой, а точнее – язык его.

Гузёнков первым делом решил ввести в колхозе твердые оклады всем руководящим работникам, учетчикам, животноводам. И – чтоб сразу почуяли дисциплину – вызывал всех по одному в кабинет и «выдержку давал»: садиться не приглашал, но сам сидел и подолгу расспрашивал.

А прудковские как пришли в Свистуново гурьбой, так скопом и ввалились в кабинет к Гузёнкову, расселись кто на стульях, кто прямо на корточках вдоль стен. Привыкли при Фильке Самоченкове... Гузёнков долго разглядывал их с любопытством, потом как ахнет ладонью по столу:

– Вы что, в свинарник пришли или в кабинет к председателю? Марш отсюда! И заходить строго по одному... По вызову.

Выходили от него хмурые и бросали недовольно собравшимся возле крыльца правления:

– Сам сидит, а тебя столбом держит... Начальник!

– А все почему? Потому как под порогом академию кончал, – съязвил Живой. – По коридорам прошел, а в класс не пустили. Под порогом в мусоре копался да ума-разума набирался. Оттого и сердитый.

Кто-то донес Гузёнку. Он и взъелся – не дал Живому оклада, на трудоднях оставил. Да еще приказал бухгалтерии: за каждую поездку отчет особый на экспедитора составлять и подавать ему, председателю.

«Смотри, чертов сын! Зенки вылупишь, а не поймаешь», – думал в сердцах Фомич. Он и раньше не крал – учен. Законы вон какие! Кому сидеть в тюрьме хочется? Деньги не рожь: концы как ни прячь, а видны. Корнеич у них дошлый счетовод – любую бумажку насквозь видит.

Хотел было Живой на ферму учетчиком уйти. Опять не пустил Гузёнков: там повольготнее и прибыльнее – оклад! Словом, обложил председатель Живого, как борзятник русака. Сколько ни беги, а конец один – выдохнешься и упадешь...

И опять – уйти из колхоза, а чего делать? Ехать на сторону, на заработки ежели – не подымешься. Да и не пустят. Здесь просить подходящую работу, за деньги чтоб? Но у кого просить? И кто даст? Коли уж уйдешь из колхоза, то и просить не у кого. А коли останешься, все равно до точки дойдешь. Вот и выходит: куда ни кинь – все клин. И опять выпало на Фролов день. «Значит, судьба меня пытается», – думал Живой.

И он окончательно решил уйти из колхоза. Неправда, где-нибудь, да устроится! А когда решился, стало ему и немного легче и как бы веселее. «Судьба мне опять поставила точку на Фролов день, а я ей – запятую, запятую...» Он даже встал и потянулся было к балалайке, хотел сыграть «Хаз-Булат удалой». Но вовремя вспомнил: сосед из района приехал. Как бы не ушел в луга. Пойти надо... Может, угостит по случаю праздника.

2

Угощение вышло в самый аккурат. Хозяин, Андрей Спиридонович Кириллов, по-уличному просто Андрюша, только заправился перед лугами и теперь прилаживал возле порога деревяшку к своей культе. А на столе стоял граненый графинчик мутновато-синей самогонки, да рядом в тарелке был нарезан пирог с калиной.

По тому, какую привязывал Андрюша деревяшку к своей культе, Живой сразу определил: косить собирается. У Андрюши было две деревяшки – одну он называл «ложей», вторую – «ступицей». Ложа – деревяшка отполированная с длинным плоским поручнем, похожим на гладильную доску, – под самое бедро подходила эта доска. Андрюша пристегивал ее двумя ремнями к бедру, а на конец важно опирался рукой. Эту ложу Андрюша надевал на работу в райфо или когда просто прогуляться хотел. Теперь ложа стояла возле порога, а пристегивал Андрюша ступицу – деревяшку коротенькую, с медным кольцом на конце. На этой ступице Андрюша мог и косить, и пахать, и даже приплясывать.

Андрюша жил и работал в районе, а к матери приезжал помочь по хозяйству. Ей выделили из колхоза гектар с четвертью лугов за сданного телка. Выдавали, правда, за телят, чего останется от покоса. Но и то благо. Иначе – своди коров со двора.

– Сено косить собираешься, Андрей Спиридонович? – спросил участливо Фомич, поздравившись.

– Угадал, – ответил тот. – А ты чего не на работе?

– А я уж отработал вчистую... То есть на общественную обязанность рукой махнул.

– Проходи к столу, сосед, – пригласила его тетка Матрена, сутулая, но еще крепкая старуха, – мать Андрюши. – Выпей с праздником-то.

– За ваше доброе здоровье, как говорится. – Живой прошел к столу, налил себе сам полный стакан, выпил, отломил кусок пирога, понюхал и стал закусывать.

Пирог был горьковат, поторопилась с калиной-то тетка Матрена. А от самогонки шибало жженой резиной. Но Фомич выпил с удовольствием и уплетал за обе щеки, продолжая рассказывать, как он решился махнуть рукой на общественную обязанность.

Андрюша наконец приладил свою деревяшку, притопнул ею, словно сапогом, да еще шуточку завернул:

– Хорошо тому живется, у кого одна нога: и портка его не рвется, и не просит сапога.

Андрюша был тяжел телом, и когда шел, то половицы жалобно поскрипывали. «А что, ему и в самом деле хорошо живется», – думал Живой, глядя на Андрюшину красную шею, на всю его мощную фигуру, перетянутую поперек живота широким командирским ремнем.

– А ты твердого задания не боишься? – спросил Андрюша, присаживаясь к столу.

– Чего у меня брать-то? Шоболов охапку?! – Фомич шмыгнул на табурете и хмыкнул. – Да и не слышать теперь, чтоб твердое задание давали.

– А ну как и вышлют?

– А там есть советская власть?

– Там комендатура.

– Ну так я помощником коменданта буду...

– Чего ж ты хочешь?

– Мне бы работенку такую, как у тебя. Телом я сохну, подобрать хочется. Вроде тебя.

Андрюша засмеялся, и грудь его даже затряслась:

– Куда уж тебе! Ты погляди-ка на себя...

Живой перед Андрюшей был – что старый мерин перед битюгом. Андрюша был весь белый, с широкой блестящей лысиной, с розовым крупным лицом. А Фомич – аспидно-желтый до черноты, со впалыми щеками, костлявый, черноусый, черноволосый и оттого казавшийся еще более худым. Он и в самом деле смахивал на заморенную в работе лошадь. И мослы у него выпирали в плечах и на спине как-то буграми, по-лошадиному. Одни только карие глаза были бойкие, молодые и впрямь живые.

– Я инвалид гражданской войны, а ты Отечественной... Разница! – говорил, усмехаясь, Андрюша. – Я до войны устраивался. Тогда на инвалидов дефицит был. Наш брат в цене ходил.

Андрюша разлил остаток самогона по стаканам. Выпили.

– Что же ты будешь делать? – спросил он Фомича.

– Да вот сел я ноне и задумался. Куда ни кинь – все клин. Хлеба нет. Одежка-обувка у ребятни поизносилась. Купить – денег нет. Как жить? Вроде бы один выход: живым в могилу лечь, как поется в песне. Нет, стой! – думаю. Есть выход! Подойдет базар – пойду я, куплю себе корову, а денег под расписку возьму. Молоко ноне почему? По три рубля за литр. Ежели продавать в день по шесть литров, дак и то за пять месяцев я корову-то оправдаю. Возвращу, значит, деньги сполна. А коров я определять очень даже умею. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть вьется. Ежели развилок начинается на холке, значит, меж молоко ходит до четырех недель. А ежели развилок на спине, более семи недель до отела гуляет. Дрянь корова, лодырь! Потом колодец прощупать надо – ямка такая есть меж утробы и грудей, в конце жилы, значит. Ежели палец большой по сгиб погрузнет – пуд молока в день даст. Ну еще на хвост погляжу – на кончике самом размахни шерсть: ежели серка есть, масляная корова! Сутки постоит молоко – клади медный пятак, не потонет. Вот какую корову я себе выберу!

– Так за чем же дело стало? – улыбался Андрюша.

– Да дело-то за сущим пустяком. Теперь денег надо мне займы попросить, тыщи три. Решил я начать с соседей, с тебя то есть. Дай мне тыщу с возвратом на полгода? А я тебе – расписку... По правилу составлю.

Андрюша оглушительно захохотал:

– Да тебя и впрямь не тужа мать родила. Ну ж ты, Живой, дьявол! Ох, уморил совсем! А я было уши развесил...

– Нет у вас ко мне никакого понимания, – со вздохом и прискорбием сказал Живой.

– Слушай, пошли со мной сено косить! Я тебе положу по рублю за сотку... Вот тебе и заработок. Да еще дам пуд пшена. Как, согласна, мать? – обернулся Андрюша к старухе.

– А что ж, и больно хорошо! – отозвалась от печки тетка Матрена. – Я, чай, и то подумала, нанять бы кого. А сам-то поезжай в район. Своих дел у тебя по горло.

И Живому, и Андрюше сделка пришлась по душе. Они хлопнули по рукам и отправились в луга. Кроме кос и брусков, Андрюша прихватил пол-литра, а Фомич ружье.

– Вечерком с устатку выпьем на покосе, – сказал Андрюша.

Луга были далеко. Покос за телят выделяли за Лукой – длиннющим, затейливо изогнутым озером-старицей. Когда-то там были наилучшие луга, и не раз из-за них прудковские мужики дрались с заречными – бреховскими мужиками. А теперь эти луга заросли кустарником-лутошкой да калиной на буграх и ольхами в низинах. А там, где и оставалась трава, стояли вразброс одинокие дубки. Трактор туда непустишь – ножи у косилок порвет. Косами выкашивать колхоз не успевал. Вот и отдавали их колхозникам за сданных телят.

Дорога туда вела вдоль реки Прокоши, петлявшей затейливо туда-сюда, будто из озорства. Пологие песчаные берега, заросшие на гривах красноталом, шиповником и черной смородиной, перемежались голыми, иссиня-сизыми глинистыми крутоярами, похожими издали на неровно срезанный толстенный конопляный жмых.

У Кузякова яра Андрюша и Живой сели отдохнуть. Припекало. Прохладный с утра ветерок окончательно стих, и густое, еще по-летнему вязкое марево колыхалось над приречными талами, над свежей сочной зеленью отавы, над буровато-желтыми приземистыми стогами. Отсюда, с высокого берега, дальние заречные стога выглядели неестественно маленькими, похожими на кочки. А широкие речные плесы, светлые, словно открытые напоказ, казалось, еще шире разлились. Просторная, в яркой, нарядной зелени равнина будто еще далее раздвинулась до самой синей каемки леса, чистый, зеленовато-холодного оттенка небосвод еще выше поднялся, во всем была какая-то щедрость и мощь. Но бурые, прибитые дождями стога вызывали грустное чувство. А может быть, невесело было еще и оттого, что во всем просторном небе висел один-единственный коршун и свистел протяжно, с переливами: «Фью-юты и-и-и рлю-рлю-рлю!» Казалось, что коршун дразнил кого-то и подсмеивался.

– Эх, природа-мать! – вздохнул Живой. – Ты вот что скажи: отчего земля добра, а человек так жаден?

– Ты про что это? – Андрюша сидел у самого обрыва, свесив свою ступицу, и бросал в воду глиняные комья.

– Да хоть про Кузяков яр. Ты знаешь, какие тут сомы живут? Страсть! А взять – не возьмешь! Был единственный человек, кто умел их брать, – Кузяк. Да и тот помер. И вот уж какой жадности был человек – помирал, а секрета своего не открыл. Так и унес в могилу, чтоб ему ни дна ни покрышки.

– А ты пробовал, выпытывал у него?

– Не одна! Не открылся... Да что мне? Сыну своему родному секрета не выдал! Я ему и шахи чинил, и самогонку ставил... Нет! А чего пожалел, спрашивается? Хоть бы из уважения к моему многодетству открылся. Знал бы я его секрет... Э-ге! Мне бы теперь ни один колхоз не страшен был. Поймал бы сома пуда на четыре – и живи не тужи.

– А я ловил с ним сомов один раз, – сказал Андрюша.

- Да ну! Это с какой же стати он пошел с тобой?
- Я ему по налоговой части услугу одну оказал, – уклончиво ответил Андрюша и, хитро прищурившись, спросил: – Ты знаешь, как насадку делать на квок?
- Еще бы! Я и в книжке читал... Все по частям уяснил.
- На чем ракушечье мясо жарить?
- На постном масле.
- А какой ниткой перевязываешь приманку?
- Обыкновенной... – Фомич подумал и добавил: – Шерстяной.
- Запомни!.. Нитка должна быть чисто льняная.
- Эх, черт! Это он тебе сказал?
- Да.
- Ну, а дальше? – Живой так и впился глазами в Андрюшу. – Сомов-то вызывали?
- Вызывали... С самого дна поднялись. Кругами пошли возле лодки. Один прямо на весло лег.
- И здоров был?
- Голова с конное ведро...
- Эх, дьявол! Как же он его брал? Ты мне скажи, как он приманку подавал? Вот об чем ни в одной книжке не сказано.
- Руку опустил в воду по локоть. Подержал немного, а потом говорит: мол, сытый сом... Не сосет, а выплевывает.
- Ах ты, мать честная! – Живой хлопнул досадливо себя по коленкам. – Это он тебе глаза отвел. Нет! Разве Кузьяк расскажет? Это ж не человек – колода!
- Утки вышли из-за кривуна внезапно; держались они, хоронясь от коршуна, близко к воде, так что Живой бил по ним как бы сверху. Две утки кувырком полетели прямо в воду, а третья потянула от косяка в сторону к тому берегу. Вдруг она пронзительно закричала, и тотчас же в нее ударил коршун, будто треснула сухая палка, – так сильно щелкнул ее, даже перья полетели... И понес низко, скрылся за тальниковыми зарослями, как за угол дома завернул.
- Вот подлец, – сказал Живой вслед коршуну. – Такие вот и живут. Видал, как взял? Будто все так и надо... Для него я только и старался, подстрелил утку. – Фомич долго смотрел туда, вытягивая шею. – Эх, маненько переплыть-то не на чем! А то бы я ему показал, как на чужое зариться.
- Достав уток, Живой засутился:
- Может быть, не станем откладывать до вечера? А ну-ка утки пропадут?! Давай-ка уж сварим их, и того... выпьем! Все-таки нынче Фролов день. А уж выкосить – я тебе выкошу один.
- Андрюша колебался только для приличия, самого-то уж размаривала давешняя самогонка.
- Ну что ж, накину тебе еще тридцатку, – согласился он.
- Уток-то у нас две, а бутылочка одна. Чуешь, что получится? Закуски много, а водки не хватит. Давай-ка эту тридцатку мне сейчас. И я как бы от себя поставлю, угощу тебя... Магарыч, х-хе!
- Как хочешь. – Андрюша вынул из кармана бумажник и протянул Живому тридцатирублевку.
- А ты разводи костер. Я в момент обернусь. Тут не более трех километров, до Прудков-то. Не более. А насчет лугов не беспокойся. Так выкошу, что гривенник за десять шагов увидишь. Вот оказия! Кажись, впервой подфартило мне на Фролов день.
- И Живой радостно засеменил в Прудки.

3

Весть о появившемся в Прудках вольном косце мгновенно разнеслась по селу. Доярки, занятые по горло на ферме, бывало, нанимали пришлых косцов – то демобилизованных солдат, то шабашников. А тут свой объявился. И к Фомичу повалили с заказами, больше все доярки – горькие вдовы. У кого не было пшена, обещали дать картошку или рожь – Фомич все принимал. Сперва брал задаток и, чтоб другой работу его не перехватил, обкашивал деляну заказчика, выстригал рядок на окраине, как шерсть на овце, – метку ставил и шел дальше. «Теперь кто и займется, со мной будет дело иметь. Так-то оно спокойнее», – рассуждал Фомич.

А соперники у него нашлись. Первым притопал дед Филат. Ранним утром, когда еще роса дымилась возле кустарников, не успев как следует осесть на траву, Фомич встретил его на делянке Маришки Бритой. Дед сидел на охапке сена возле выкошенной Фомичом метки. Из-за голенища его кирзового сапога торчала деревянная ручка смолянки. Над головой на дубовом суку висела коса.

– Ты чего, дядь Филат, ночевал тут, что ли? – спросил Фомич.

– А хоть бы и ночевал... Я, Федька, сна лишен начисто. Мне что ночь, что день – все едино.

– И лежал бы себе на печи. Зачем сюда пришел?

– Делянка-то моей племянницы, Маришки.

– Ну и что?

– Как что?! Косить пришел.

– Ты что, только очнулся? Она ж мне ее сдала. Где ж ты был раньше?

– Где я был – не твою ума дело. И не пытай меня, Федька. Молод ишо. А косить будем вместе. И деньги поделим. Не то у меня и портки латать нечем. Да куфайку справить надо к холодам-от.

– Ты, чай, дядь Филат, на четвереньках косить-то станешь, – усмехнулся Живой.

– Шшанок! – побагровел дед Филат. – Передом пойдешь – пятки подрежу.

Дед Филат был сух, погибнет, с жиденькой и сквозной бородашкой, с мелкими конопущками на простынно-белом морщинистом лице. Когда он сердился или смеялся, у него было одно и то же выражение странно растянутых в каком-то застывшем оскале губ. Кто видел этот оскал впервой, тому казалось, что дед Филат беззвучно плачет. Жил он один, два сына погибли в войну, старуху схоронил уже после... Пенсии не получал, потому как был колхозником, и сыновья были когда-то колхозниками. Перебивался дед Филат кое-как: зимой салазки мастерил, а летом корзины плел да сети, больше все однокрылые шахи, или «кулики», как называли их в Прудках. Сети он сам дубил соком плакун-травы.

– Против моих сетей ваш капрон – что камыш перед лозняком, – говаривал дед Филат. – Палка скорее изопреет, а сети мои будут стоять.

И хотя дед Филат еще и не видывал этот самый капрон, а только слышал про него, сети его могли бы и в самом деле посостязаться с капроновыми – служили они долго, и брали их хорошо.

Но нынешним летом велась борьба с браконьерами и лодырями. Каждое село выявляло своих лодырей. Нагрянули и к деду Филату. Приехала подвода из района с двумя представителями. Привел их свой – Пашка Воронин, прудковский бригадир. Нагрузили целую телегу этих шахов. И нитки забрали подчистую...

– В колхозе надо работать, а не тунеядствовать, – назидательно говорил деду Филату незнакомый представитель в фуражке с дубовыми листьями.

Дед Филат услужливо крутился возле телеги, помогал увязывать сети.

– Мотри, Пашка, кабы на ухабе не трянуло; под колесо попадет кулик – кольца поло-мает, – наказывал он бригадиру.

– Чудак! – усмехнулся начальник в фуражке с дубовыми листьями. – Что мы, покупаем у тебя сети, что ли? Или на хранение везем? Мы ж конфискуем... Понимаешь?

– Отчего же не понимать? Везите, везите, – деревянно бормотал дед и долго смотрел вслед телеге из-под ладони, оскалившись – то ли плакал, то ли смеялся.

Фомич понимал, в каком положении оказался дед Филат, и теперь находился в трудном раздумье. Оно бы надо поделиться с дедом, коли по-людски поступать. Да ведь и себя жалко. Там своих ртов полна изба: каждое утро разевают – дай! А кто ему, Фомичу, даст? Он сел возле деда, закурил.

– У тебя, дядь Филат, смолянка-то, поди, с единоличной поры осталась? – Живой вытянул насмоленную дощечку из-под голенища деда Филата. – Их уж, никак, лет двадцать не продают?

Смолянка была черная, целенькая, как новая.

– Перед войной старшой привез мне две штуки со стороны, – сказал дед Филат. – Одно-то я исшоркал.

– Ну-к, я попробую! – Живой упер в носок такого же расшлепанного, как у деда Филата, кирзового сапога кончик косы и стал точить неровное жало.

«Вжить, вжить, вжить...» – звонко отдалось на другом берегу озера. Потом Фомич поставил косу на окосье и, задирая кадык, наточил конец.

– Хорошо! Брусом точить, что ни говори, не сручно. Коса у меня зараза: два раза махнешь – и садится. У тебя, поди, еще венская? – Фомич с завистью посмотрел на источенную, узенькую, как змейка, косу деда Филата.

– На ней два кляйма! – важно сказал дед Филат.

С минуту молчали, глядели за озеро на почерневшие от дождя стога...

– Ну и лето было! Сено в стогах гниет, – сказал Фомич.

– Какие это стога! Это ометы, а не стога. Три хороших навильника – вот и весь стог. Их дождем прошибает. А сверху преют, и поддоннику много остается. Сажают их ноне там, завтра тут... тьфу! – Дед плюнул, бросил окурок и затоптал его сапогом. – Все луга испятнали. Раньше, бывало, стог поставим – на десяти подводах не увезешь. Вот это стога стояли... Выше дубьев! И всегда на одном месте.

– Это верно, – подтвердил Фомич. – Поначалу меня в колхозе, в нашей бригаде то есть, вершить стога ставили.

– Какой из тебя вершитель! Ты еще сморчком был. Лучше попа Василия у нас в Прудках никто не вершил. И одонья он клал сам. Все снопы клал гузом вниз. Скирду к скирде, бывало, выведет – стоят, как зализанные. Год простоят – и ничего с ними не сделается. Мастер был.

– Да-а... Мы его с Воронком брали. Он – председатель комбеда, я – секретарь сельсовета... «Власть, говорит, пришла, матушка. Собирайся!» – «Нет, говорим, только тебя, отец Василий, одного до сельсовета». – «А там уж ждут нас обоих», – говорит поп. И точно. Там уж уполномоченные ждали его, из района приехали. Все знал. Пронзительного ума был человек.

– Промзель, это точно, – согласился дед Филат. – Ну, посидели, Федька, и будет...

Дед Филат встал, скинул с себя драную фуфайку, снял с дерева косу.

– Значит, передом пойду, как договорились.

– Это где ж мы с тобой договаривались? – Живой разинул рот от удивления.

Но дед будто и не слышал... Коротко ударил с угла раза два косой, закосил рядок и пошел вдоль деляны.

Косил он неожиданно легко, с подсадом, и аккуратно выкладывал траву.

«Вот те и напарник незванный пришел. Ну что ж с ним делать? За рубаху его не оттащишь, – думал Фомич. – Ему ведь тоже кормиться надо».

Живой было резко пошел за дедом, но по его захвату, как нарочно, рос густой рябинник и торчало много высоких порыжелых кочетков. Трава перестоялась, а рябинник так и вовсе у корней был что твоя проволока, аж коса звенела. Того и гляди, пятку порвешь. Разов десять махнешь, а там уж коса не берет, мусатит траву – и шабаш. Фомич поминутно останавливался, вынимал брусок и точил косу. А дед Филат без остановок все смолит и смолит, аж рубаха пузырится – вон куда ушел!

«И что за коса у него? – думал Фомич. – Прямо змея. И дед еще при силе... жилистый! Это он на вид такой: дунешь – упадет. А гляди ты, как уписывает. Оно, пожалуй, кстати, что помощник сыскался. Не то вон наемни выкосил Андрюшину деляну – время согреть да в стога метать, а с кем? Дуню не посадишь на стог – не свершит. Самому придется и навивать, и вершить, и утапывать. Налагаешься со стога да на стог так, что язык высунешь. А деда посажу – и за милую душу. У него и вилы хорошие есть – четырехрогие, стоговые. Теперь таких не купишь».

Когда Фомич закончил свой рядок, дед Филат уже отдышался.

– Ну что, Федька, ешь тебя лапоть! Али я не говорил тебе, что пятки порежу?

Дед Филат сидел с открытым ртом, как гусенок в жаркий полдень, на груди и на спине его синяя облезлая рубаха потемнела от пота.

– Коса у тебя – золото! – сказал Фомич, вытирая рукавом пот. – На всем рядке ни одной заточки. Ей-богу, не поверил бы, кабы кто сказал.

– Я в прежние годы с этой косой, Федька, пол-России выкашивал. И на Дон ходил, и на Кубань, аж до самых Капказских гор. Наши рязанские косцы высоко ценились. Бывало, приду к хохлам на базар, где они косцов нанимали, напишу на лапте: пятьдесят копеек – и спать ложусь. Кому нужно – бери. Меньше ни в какую. Не согласен – и точка!

Косили с передышкой долго, пока солнце под уклон не пошло. И только тогда, перед уходом домой, дед Филат признался:

– Я ведь наперехват к тебе пришел, Федька.

– А кто ж еще хотел? – насторожился Фомич.

– Спиряк Воронок...

– Чего ему не хватает? – нахмурился Фомич. – Все хапом норовит.

– Вчерась я ходил на скотный двор. Он вертится, как бес хромоногий. Подмигивает мне: «Пойдем, говорит, калым с Фомичом делить на покосе».

– Я ему поделю! Окосьем по зубам, – кипятился Фомич.

– А если, говорю, он несогласный? Тогда что? Тогда, говорит он, председателю донесу. Ни мне, мол, ни ему.

– Испугал председателем!

– Мотри, ноне вечером он к тебе нагрянет.

– И на порог не пушу блинохвата, – сказал Фомич.

4

Но вечером, уже при свете, Спиряк без стука прошмыгнул в избу к Живому. Было ему уже далеко за шестьдесят, а он все еще ходил в Спиряках. Ну, Воронком еще звали. А ведь в былые времена должности хорошие занимал! Да и теперь, хоть и работал скотником на ферме, но, поскольку приходился старшим братом прудковскому бригадиру, силу Спиряк имел большую. В его облике было что-то барсучье: вытянутое вперед тупоносое лицо с черными усами и белой бородкой, скошенный низкий лобик и плотно лежащая, словно зализанная, седая щетина коротких волос. И в повадке Спиряка было тоже нечто барсучье – в избу войдет, как в нору юркнет. Не услышишь... Встанет у порога и крутит головой, словно принохивается. И кланяется так, будто голову протягивает, того и гляди – укусит.

– Добрый вечер, хозяйева! Хлеб-соль вам.

Фомич с Авдотьей ели пшеничную кашу; дети нахлебались в первую смену, уже отвалили от стола и копошились тут же, на полу.

– Проходите в избу, раз уж вошли, – сказала хозяйка. – Чего стоять у порога? За постой деньги не платят.

Фомич промолчал.

Спиряк сел в передний угол и бесцеремонно заглядывал в чашку.

– Никак, пшеничная каша? А я пашано на блины пускаю.

– У нас не то что на блины, на кашу нет его, пашана-то, – сказала Авдотья.

Фомич отложил ложку, глянул круто на Спиряка.

– Ты чего в ревизоры лезешь? Довольно и того, что твой брат обирает колхоз.

– Ну, брат мой по пуду пашана со двора не собирает. Это у нас раньше только поп Василий огребал по стольку, – едко ухмыльнулся в бороду Спиряк Воронок.

– Да вы с Пашкой и мертвых обираете!

– Это что еще за мертвых?

– Памятники с могил потаскали... Тот на фундамент, а ты на подвал.

– То церковные памятники... с крестами. Камень, и больше ничего. А то – пашано. Да еще по пуду.

– Вы возами везете! – крикнул Фомич.

– Эка хватил! Непойманный – не вор. Мы по закону живем, – продолжал усмехаться Спиряк. – А коли прав человек – он спокоен. Не шуми. Ну, чего волнуешься? Какой я тебе ревизор?.. Авдотья, – сказал Спиряк иным тоном. – Ну-ка, выйди на двор да детишек заberi. Нам потолковать надо.

Авдотья, десять лет проработавшая на ферме в ту пору, когда Спиряк Воронок был еще заведующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. И Спиряк уже не начальник, а сам водовоз, и Авдотья не доярка, а давно уж домоседка с вечно опухшими, искривленными какой-то непонятной болезнью пальцами, но все ж приказ сработал: она встала из-за стола и торопливо повязала платок.

– Ты куда? – Фомич хмуро кивнул на скамью. – Садись! Какие у меня могут быть с ним секреты?

Но детей он все-таки выпроводил.

– Гуляйте! – подталкивал Фомич ребятишек в спины, тихо шлепал по затылкам – кроме пятерых своих, в избе играли еще двое соседских.

Когда ребятишки, гулко протопав сеньями, выскочили на крыльцо, Фомич сказал:

– Нечего и начинать. Бесплезный разговор.

– Кто ж тебя упредил? Филат, должно быть?

– Кулик на болоте.

– Я ведь вот к чему разговор веду, Авдотья. – Спиряк нарочно обращался теперь к хозяйке. – В каждом деле разумный оборот должен быть. А он не понимает.

– Вижу, какой тебе оборот нужен... Где что плохо лежит – у тебя брюхо болит, – зло сказал Фомич. – Но здесь не отколетсЯ.

– Вчера братана встретил, – глядя на Авдотью, сказал Спиряк. – Он говорит: мол, Фомичу самовольный покос запретим. А за то, что на работу не ходит, оштрафуем.

– Господи, что ж это будет, Федя?

– Тебя не спрашивают... Молчи! – цыкнул на жену Фомич.

– А я Пашке говорю, – мягко продолжал Спиряк Воронок, – Фомич многодетный, ему тоже кормиться надо. А на покос выделим ему напарника и оформим это вроде как общественную нагрузку. И все будет по закону.

- Эх ты, обдирала, мать твою... – Фомич длинно и заковыристо выругался.
- Ну вот, я ему выход подсказываю, а он меня к эдакой матери шлет. – Спиряк Воронок смотрел на Авдотью, словно Фомича тут и не было.
- Ладно, передай Пашке – я деда Филата беру в напарники, – сказал Фомич. Воронок дернулся, словно его током ударило, и пошел в открытую:
- Косить будешь со мной и делить все пополам... Понял? Или...
- Иди ты... Я с тобой еще раньше наработался.
- А что раньше? Мой комбед на хорошей заметке был.
- Ты скольких туда отправил? Ваську Салыгу, к примеру, за что?
- Он лошадьми торговал.
- Не торговал, а больше менял, как цыган. Доменялся до того, что с одной кобылой заморенной остался... Я зна-а-аю за что... – Фомич остервенело погрозил пальцем. – Ты боялся, кабы он тебя не выдал.
- В чем?
- Бреховских лошадей в двадцать седьмом году не вы с Лысым угнали? А Страшной их в Касимове сбыл.
- Это вы по своему примеру судите, – невозмутимо и вежливо сказал Спиряк Воронок. – Петру Лизунину кто отпускную дал? Ты! Уж, поди, не задаром?
- Зато ты, как Лизунин сбежал, все сундуки его подчистил. Небось еще до сих пор не износил лизунинские холстины? А я не жалею, что отпустил его. Он вон где! В Горьком пристанью заведует. И дети у него в инженерах да врачах. А у тебя один сын, да и тот в тюрьме сидит за воровство.
- Спиряк Воронок покрылся багровыми пятнами, встал, зло нахлобучил по самые брови кепку:
- Ты и раньше был подкулачником... Обманом в секретари сельсовета проник. А теперь ты – тунеядец. Мы еще подведем тебя под закон. Подведем!..
- Он вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверью.
- Что ж теперь будет, Федя? – жалобно спросила Авдотья.
- Ничего... Бог не выдаст – свинья не съест.
- Фомич понимал, что его короткому благополучию скоро придет конец. «Но как бы там ни было – отступать не буду. Некуда отступать», – думал он.
- На другой день к обеду, когда Фомич с дедом Филатом докашивали деляну Маришки Бритой, на высоком противоположном берегу озера появились дрожки председателя колхоза. Сам приехал – Михаил Михайлыч Гузёнков. Он привязал серого в яблоках рысака возле прибрежной липы и с минуту молча разглядывал косарей, словно впервые в жизни видел их. Фомич и дед Филат тоже стояли на берегу и разглядывали председателя; над камышовыми зарослями торчали их головы на тощих журавлиных шеях, как горшки на кольях. А председатель высился на липовой горе, широко расставив толстые, в желтых хромовых сапогах ноги, сложив руки крест-накрест на выпирающем животе, обтянутом расшитой белой рубахой, в белом парусиновом картузе. Ниже, в воде, такой же мощный председатель стоял ногами кверху на картузе, и казалось, он-то, этот нижний, отраженный в воде, и есть настоящий – стоит на голове и держит на себе липовую гору.
- Ну, чего уставились? Давайте сюда! – поманили пальцем оба председателя.
- Нам и тут хорошо, – сказал дед Филат.
- Чего там делать? – отозвался и Фомич.
- Идите, идите... Я вам растолкую, чего делать, – мирно уговаривал их Михаил Михайлович.
- Ты на лошади, ты и езжай сюда, – сказал Фомич.
- Буду я еще из-за вас, бездельников, жеребца гонять.

– Ну и валяй своей дорогой, раз мы бездельники... А нам некогда языки чесать. – Живой вскинул косу на плечо и пошел прочь.

За ним подался и дед Филат.

– Куда! – рывкнул Гузёнков так, что рысак вскинул голову и мелко засеменял передними ногами. – Стой, говорю!

– Ну, чего орешь? – Фомич остановился.

Дед Филат нырнул в кусты.

– Ты кто, колхозник или анархист? – распалялся Гузёнков.

– Я некто.

– Как это «некто»? – опешил председатель.

– Из колхоза пятый день как ушел. В разбойники еще не приняли... Кто ж я такой?

– Ты чего это кренделя выписываешь? Почему на работу не ходишь?

– Ты сколько получаешь? Две с половиной тыщи? Дай мне третью часть, тогда я пойду в колхоз работать.

– Брось придуриваться! Добром говорю.

– Ежели хочешь по-серьезному говорить со мной, езжай сюда. Сядем под кустом и потолкуем. А кричать на меня с горы не надо. Я на горе-то всяких начальников видел. Еще поболее тебя.

– Ишь ты какой храбрый! Значит, от работы отказываешься?

– А чего я здесь делаю? Смолю, что ли, или дрыхну?

– Комедию ломаешь. Вот вызовем тебя на правление, посмотрим, каким ты голосом там запоешь.

– Ни на какое правление я не пойду! Я уже сказал тебе – из колхоза я ушел. Насовсем ушел!

– Не-ет, голубчик! Так просто из колхоза не уходят. Мы тебя вычистим, дадим твердое задание и выбросим из села вместе с потрохами. Чтоб другим неповадно было... Понял?

– Понял, чем мужик бабу донял, – усмехнулся Фомич. – А избу-то мою, чай, под контору пустишь? Все ж таки я буду вроде раскулаченного.

– Посмеешься у меня!.. – Председатель рывком отвязал рысак, сел на дрожки и, откидываясь на вожжах, покатил вдоль озера.

По тому, как, скаля зубы, закидывал голову терзаемый удилами рысак, по каменной неподвижности налитого кровью стриженного затылка председателя можно было заключить, что уехал он в великом гневе.

– Ну, Федька, таперь держись, – сказал дед Филат, из-под ладони провожая строгого председателя.

5

Изба Фомича стала подаваться как-то враз. Вроде бы еще в прошлом году стояла исправной, а нынешней весной, когда Фомич откидывал высокий, почти до окон завалинок, он вдруг заметил, что нижние венцы выпучило, словно изнутри их кто-то выпирал.

– Обрюхатела изба-то. Впору хоть ремнем ее подпоясывай, – невесело доложил он хозяйке.

А к осени сильно просела почерневшая от времени и копоты матица, и по ночам в ветреную погоду, когда тоскливо подвывало в трубе, матица сухо поскрипывала, словно кряхтела натужно.

– Федя, подопри ты матицу, – жаловалась в такую пору Авдотья. – Прихлобучит нас вместе с ребятами. Не выползешь.

Спала она с детьми на печи, а Фомич – на деревянной кровати, если ее можно было назвать кроватью. Длинной она была не более полутора метров, хотя и занимала весь простенок, до самой двери. Дальше нельзя – некуда! Изба-то семиаршинка... На такой кровати не вытянешься.

По ночам рядом с кроватью он ставил табуретку и протягивал на нее ноги.

– Жить захочешь – научишься изворачиваться, – любил приговаривать Фомич.

После встречи с председателем у озера Фомича вызвали в правление колхоза на центральную усадьбу в соседнее село Свистуново. Но Фомич не пошел. Там решили заглазно – исключить его из колхоза и утвердить это решение на общем собрании. Утвердили. А колхозникам запретили сдавать Кузькину свои телячьи дяляны лугов для выкашивания. Так была нарушена неожиданная статья дохода Живого. Но Фомич посмеивался:

– Ничего, Дуня! Вот теперь я начну избу ухетовать. Спасибо им, хоть от работы меня освободили.

Жизнь не больно баловала Фомича. Детство трудное – сиротское. В юности не успел как следует погулять, как его и оженали.

Повезли венчать. Как ехали – в тулупах, – так и вошли в церковь. На Фомиче старый отцовский тулуп тащился полами по ступеням паперти, а воротник и вовсе упрятал его голову так, что одна шапка выглядывала. «Пудоросток, как есть пудоросток, – сокрушенно вздыхала мать, идя за ним вслед, – невестка и то, кажись, поболее его будет».

А священник, встретив эту робкую, прижавшуюся в углу свадебную процессию, спросил весело:

– А где жених-то, чады мои?

Кроме Фомича, из мужиков был еще только отец Дуняши – мужчина рослый, с окладистой седой бородой. Пришедшие поглазеть сдавленно прыскали и прикрывались ладонями, будто крестились. Мать толкнула тихонько Фомича в спину:

– Ен, батюшка, только на вид пудоросток, а так парень живой. Поп громко засмеялся:

– И наречен был Живым?

– Живым, батюшка, живым, – ляпнула с перепугу старуха под общий уже несдержанный хохот.

– Если живой, значит, подрастет, – бодро сказал поп. С тех пор и прозвали Фомича Живым...

А после свадьбы он и в самом деле подрос, на работе вытянулся. Год вместе с молодой женой батрачили они у свистуновского маслобойщика, а потом купили корову с лошастью и зажили своим хозяйством. Эти первые годы после женитьбы были затяжной и веселой погоней за достатком.

– Мы тройкой везли, – говаривал Фомич, вспоминая об этом времени. – Лыска коренником шла, а мы с Дуней – пристяжными.

Эх, Дуня, Дуня! Это теперь ты стала на вздохи скорой да на слезы слабой... А раньше, как зяблик, от зари и до зари колокольчиком заливалась, веселей тебя не сыскать...

Удивляли они прудковцев тем, что на втором и на третьем году замужества все еще ходили по весенним вечерам на припевки. Собиралась молодежь на красной горке возле церковной ограды. Фомич приходил с хромкой на плече. Дуня в желтых румянках, в цветном платочке да в безрукавной продувной кофточке. Живой, бывало, приглядится к гармонисту, своему ли, чужому ли, все равно. Снимет гармонь – ухо к мехам... Да как ахнет! И голос в голос угадывал – так вольтется. И две гармони играют, как одна. А Дуня только того и ждет, ее не надо упрашивать. Как бы нехотя снимет платок, лениво поведет плечами и пойдет по кругу с притопом, только дробь от каблуков горохом сыплется:

Гармонист, гармонист, тоненькая шейка!

Я спляшу тебе страданье – играй хорошенько.

А с лавочки глуховатым мягким баритоном отзывался Живой:

Ты залетка-залетуха,
Полети ко мне, как муха...

– Вот живые, черти! – ворчали на завалинках бабы. – Детей уж пора нянчить, а они все еще ухажерятся.

– До женитьбы не успели, теперь отгуляем. Мы свое возьмем, – отвечал Фомич.

И на работе в колхозе, и в первые годы на воскресниках Дуня отличалась. Бывало, пойдешь бороздой за сохой картошку сажать – от сохи не отстанет. Идет, как на привязи – мелким шажком, корзина на груди, а руки так и порхают от корзины да в борозду. Только корзины поспевай нагружать. Ребятишки на погляд сбегались, когда она сажала картошку. Ни одна ни девка, ни баба по всему колхозу не смогла бы угнаться за ней в борозде. Недаром и ее прозвали Живой. Была она смолоду, как и Фомич, смугла лицом, с быстрыми, серыми, глубоко посаженными глазами. За то ее мать Фомича, острая на язык старуха, прозвала «долбленные глаза». Потом пошли дети с такими же серыми «долбленными» глазами. И так уж получилось – вся тяжесть по домашнему хозяйству, «по поению-кормлению», как говорил Фомич, легла на Авдотью. Сам он скоро отошел от колхозных дел, поскольку получил продвижение «на руководящую линию», потому как был из батраков, бедняцкого происхождения.

Это батрацкое прошлое не только не принесло удачи Фомичу, но даже совсем наоборот, – можно сказать, сыграло с ним злую шутку.

В первые годы безбедной жизни в колхозе, когда выдавали еще по двенадцать пудов на едока, Фомича направили в сельсовет секретарствовать. Платили самую малость – сапог яловых не справишь. А кирзовых еще не продавали, делать пока не научились. Потом и вовсе худо стало: в Прудках сельсовет закрыли, и Фомич стал работать в Свистуновском сельсовете. Каждое утро и вечер пять верст по лугам туда-сюда бегал.

«Я теперь, как дергач, – говорил Фомич, – тот своим ходом на зимовку бегают, а я – на работу. Только вот еще крякать не научился». – «Зима подойдет – небось закрякаешь, – отзывалась старуха. – Одеть-то нечего. Пенъжак вот ветхий, хорошенько дунь в него – разлетится, как сорочье гнездо». – «Счастье, мать, не в пенъжаке». – «А в чем?» – «Кто его знает».

Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда был маленьким, думал: счастье – это большой дом с хорошим садом, как у попа Василия, откуда пахнет летом сиренью да яблоками, а зимой блинами. Стал подрастать, думал: счастье – это жениться на Дуняшке. Но не успел еще как следует помечтать, а его уж и оженили. Потом он мечтал заработать много денег, купить лошадей, коров, построить большой двор, совсем как у Лизунина... Но тут колхоз пришел. А в колхозе какое оно, счастье! Богатство не в чести. Революционная дисциплина и работа, чтоб всем было хорошо. Ладно! И такое счастье может быть. Но, работая секретарем сельсовета, Фомич знал, что год от году со всех колхозов берут поставок все больше и больше, а колхозы слабеют. Мало того, поначалу всем колхозникам хлеба давали столько, чтобы голоду не замечалось. На едоков, значит. А приработок шел тому больше, кто работал лучше. А теперь бригадирам, да трактористам, да учетчикам всяким платят много, а кому и совсем чепуху. Как же может быть в таком колхозе всем хорошо? И вспоминались ему слова Лизунина: «Колхоз это вот что такое: хитрый наживется, красивый налюбится, а дурак навалтузится». Пусть это неправда! Но ведь неправдой оказалось и то, во что верил Фомич, когда шел в колхоз: «Сделаем так, чтобы всем жилось хорошо». Выходит, и в колхозе счастья для него нет.

В тридцать пятом году Фомича послали как выдвигенца на двухгодичные курсы младших юристов. Однако не прошло и года, как всех недоучившихся курсантов стали направлять

председателями в колхозы. Фомича направили в лесной колхоз мешерской полосы. Всю жизнь Фомич хозяйствовал на черноземе да на лугах. И что у него за хозяйство было? Земли – свинья на рыле больше унесет. А здесь колхоз, да еще лесной... К этому времени Фомич стал кое-что понимать – тот председатель хорош, который и начальство подкрепит сверхплановой поставкой, и колхозников сумеет накормить. А для этого великая изворотливость нужна. И главное – крепкая основа хозяйства: либо земля сильная, либо промысел какой доходный. Тогда еще можно продержаться. Но поехал Фомич в тот мешерский колхоз, поглядел: земля – подзол да болота. Зима подойдет – мужики обушок за пояс и пошли в отход. Своя земля и раньше не кормила. Чего же Фомич там сотворит? На чем развернется? А ведь осень подойдет – сдай хлеб государству и мужикам выдай. Это какая же изворотливость, какая голова нужна? Нет, здесь он не потянет. И Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его исключили из партии, отчислили с курсов, и приехал он в Прудки с подмоченной репутацией, как «скрытый элемент и саботажник».

А вскоре и беда пришла. В тридцать седьмом году по случаю первых выборов в Верховный Совет был большой митинг в районе. Приезжал сам депутат – финансовый нарком. Мужики, съехавшиеся со всех сел по случаю базарного дня, густо загрохотали площадь, в центре которой на дощатой трибуне стоял депутат, и зорко подмечали, что росту нарком был с Ваню Бородин, самого высокого мужика из Свистунова, что шапка была на нарcome бобровая, а папиросы он курил «эдакие вот, по сковороднику».

После митинга обещали выкинуть на лотки белые булки. Но булок этих оказалось мало, и когда подошла очередь Фомича, продажа кончилась. Фомич прочел вслух вывеску над ларьком: «Потребсоюз» и сказал: «Нет, это потрепсоюз». Вокруг поднялся смех. Тогда к Фомичу подошел представитель рика и сказал: « Попрошу пройти со мной». На лбу у него не было написано, что он эдакий представитель, и Фомич послал его подальше. Представитель взял Фомича за воротник полушубка... Живой в драке был мужик отчаянный. Он захватил руку этого представителя, нырнул ему под мышку и кинул его так через себя, что у того аж калоши с хромовых сапог полетали. Раздались тревожные свистки, и Фомича забрали.

Судила его тройка «за антисоветскую пропаганду», да еще в «период подготовки к выборам». Припомнили все: и «скрытый элемент», и саботаж, то есть отказ от председательства, и исключение из партии. И отправили на пять лет в тюрьму по «линии врага народа».

Но Живой и в тюрьме не застрял. В тридцать девятом, в финскую войну, многие из заключенных подавали заявления в добровольцы.

Фомич тоже написал. Дело его пересматривали и освободили. Но пока заседали комиссии, пока ходили туда-сюда запросы: «Был или не был в лишенцах?», «Выступал ли против коллективизации?» и прочее – пока освобождали его, финская война окончилась.

Однако повоевать успел Фомич вдоволь в большую войну...

Принес он с войны орден Славы и две медали, да клешню вместо правой руки.

И откуда же знать Живому – есть ли на свете счастье? И какое оно? Перебирая дни и годы своей жизни, он сортировал их, как тальниковые прутья для корзины: те, что побольше, поважнее, – на стояки шли, помельче – в плетенку. Отброса вроде бы и не было – все деньки истрачены на дело. Теперь вот стали говорить, что счастье есть труд. Если это правда, тогда Фомич самый что ни на есть счастливейший человек на свете. В любую, самую трудную пору своей жизни он находил себе подходящее дело.

Вот и теперь по ночам Фомич на себе приволок из-за Луки несколько дубовых бревешек, подправил нижние подопревшие венцы и, главное, сделал подпорку под матицу – пусть хоть хозяйка спит спокойно.

Вместе с холодами постучала в избу Живого и тревога – пришла повестка: явиться в райисполком на «предмет исключения».

6

День выдался слякотный: с утра пошел мокрый снег вперемешку с дождем. Промерзшая накануне земля осклизла и налипала на подошвы. Фомич осмотрел свои ветхие кирзовые сапоги и решил-привязать резиновые подошвы сыромятными ремнями: дорога до Тиханова дальняя – десять километров. В такую пору немудрено и подошвы на дороге оставить. Фуфайку он подпоясал солдатским ремнем – все потеплее будет. А поверх, от дождя, накинул на себя широкий травяной мешок. Вот и плащ! Да еще с капюшоном, и шлык на макушке. Как буденовка.

– Ну, я пошел! – появился он на пороге.

Как увидела его Авдотья в таком походном облачении, так и заголосила:

– И на кого же ты нас спокидаешь, малых да старых? Кормилец ты наш ненаглядный! Ох же ты злая долюшка наша... По миру итить сиротинушкам!

– Ты что вопишь, дуреха? Я тебе кто – покойник?

– Ой, Федя, милый, заберут тебя и посадят... Головушка моя горькая! Что я буду делать с ними, малолетними? – Авдотья сидела за столом облокотясь и, торопливо причитая, пронзительно взвизгивала.

Меньшой, Шурка, зарылся в материнские колени и тоже заревел.

– Глупой ты стала, Дуня... – как можно мягче сказал Фомич. – Ныне не тридцатые годы, а пятьдесят третий. Разница! Теперь немного-то побалуешься... Вон самого Берию посадили. А ты плачешь!.. Смеяться надо.

И, махнув рукой на квелость своей хозяйки, Живой ушел из дому. «Ну, что теперь преподнесет мне Семен Мотяков?» – думал он по дороге.

Председатель райисполкома Мотяков был годком Фомичу. В одно время они когда-то выдвигались – Мотяков работал председателем сельсовета в Самодуровке. Потом вместе на юридических курсах учились. В одно время их направили и работать председателями колхозов. Только Фомич тогда отказался от своего поста, а Мотяков пошел в гору...

Живой понимал, что с Мотяковым шутки плохи: тот еще раньше лихо закручивал, а после войны, окончив в области какие-то курсы, и вовсе грозой района стал. Его любимое выражение: «Рога ломать будем! Враз и навсегда...» – знал каждый колхозный бригадир.

«Ну и что? У меня и рогов-то нету. Все уже обломано... Поскольку я комолый, мне и бояться нечего», – бодрился Фомич.

На исполкоме он решил держаться с вызовом. «Для меня теперь чем хуже, тем лучше. Ну, вышлют. Эка невидаль! На казенный счет прокачусь. А там и кормить хоть баландой, да будут».

Вымокшим, продрогшим до костей пришел Живой в Тиханово. Рик размещался в двухэтажном кирпичном доме посреди райцентра.

Живой как был в мешке, так и вошел в приемную.

– Кто меня тут вызывал?

– Вы что, на скотный двор пришли? – набросилась на него молоденькая секретарша. – Снимите сейчас же мешок! Да не сюда. За дверь его вынесите! С него прямо ручьями течет... Вынесите!

Живой снял мешок, но с места не двинулся.

– А ну-ка его кто унесет оттуда? У меня это, может, последний мешок...

– Да кому он здесь нужен? Ступайте! Чего встали у порога?

Живой было двинулся к двери председателя.

– Ага! Вы еще туда с мешком пройдите... Вот они обрадуются. – Секретарша встала из-за стола и энергично выпроводила Живого за дверь. – Бестолковый народ! Целую лужу оставил. Я вам что, уборщица?

Через минуту Живой вошел без мешка, но текло с него не меньше.

– Вы что, в пруду купались, что ли?

– Ага, рыбу ловил бреднем. А потом думаю: дай-ка обогреюсь в рике. У вас вон и мебель мягкая.

На этот раз секретарша и встать не успела, как Живой бесцеремонно прошел к столу и плюхнулся на диван.

– Во! В самый раз...

– Вы... Вы к кому?

– К Мотякову на исполком.

– Вы из Прудков? Кузькин?

– Ен самый...

– Да где же вы шатаетесь?! – словно очнувшись она и набросилась на Живого с новой силой: – Встань! Его ждут целый час руководители, а он где-то дурака валяет.

Не слушая объяснений Фомича, она быстро скрылась за дверями и тотчас вышла обратно:

– Живо ступай! Ишь расселся.

Живой вошел в кабинет. На председательском месте сидел сам Мотяков, возле стола стоял секретарь райкома Демин в темно-синем бостоновом костюме. Члены исполкома, среди которых Живой узнал Гузёнкува, да председателя соседнего колхоза Петю Долгого, да главврача районной больницы Умняшкина, сидели вдоль стен и курили. Видать, что исполком уже кончился, – за длинным столом лежали исписанные листки бумаги, валялись карандаши.

– Вот он, явился наконец, ненаглядный! Извольте радоваться. – Мотяков сверкал стальными зубами, поглядывая на Фомича исподлобья.

Демин кивнул Живому на стул, но не успел Фомич и присесть, как Мотяков остановил его окриком:

– Куда! Ничего, постоишь... Не на чай пригласили небось. – Мотяков встал из-за стола; на нем были защитный френч и синие командирские галифе. Засунув руки в карманы, он петухом обошел вокруг Фомича и съязвил: – Курица мокрая... Еще бунтовать вздумал.

– А у вас здесь что, насест? Если вы кур собираете, – сказал Живой.

– Поговори у меня! – крикнул опять Мотяков и, подойдя к Демину, что-то зашептал ему на ухо.

Демин был высок и тощ, поэтому Мотяков тянулся на цыпочках, и его короткий широкий нос смешно задирался кверху.

«Как обнюхивает», – подумал, глядя на Мотякова, Фомич и усмехнулся.

Демин кивнул Мотякову маленькой сухой головой, Мотяков подошел к столу и застучал костяшками пальцев:

– Начнем! Тимошкин, на место!

Кругленький проворный секретарь райисполкома Тимошкин с желтым, как репа, лицом присел к столу по правую руку от Мотякова и с готовностью уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами. Демин отошел к стенке и присел рядом с другими членами исполкома.

– Гузёнков, давай, докладывай, – сказал Мотяков.

Михаил Михайлыч встал, расставил ноги в сапожищах, словно опробовал половицы, – выдержат ли? – вынул листок из блокнота и начал, поглядывая на Мотякова.

– Значит, после сентябрьского Пленума вся страна, можно сказать, напрягает усилие в деле подъема сельского хозяйства. Каждый колхозник должен самоотверженным трудом своим откликнуться на исторические решения Пленума. Но есть еще у нас иные-протчие элементы, которые в рабочее время ходят по лугам с ружьем и уток стреляют. Мало того, они подби-

вают на всякие противозаконные сделки неустойчивых женщин на ферме, которые по причине занятости не могут сами выкашивать телячьи делянки. И косят вместо них, а взамен берут пшеном и деньгами. Куда такое дело годится? Это ж возврат к единоличному строю... Мы не потерпим, чтобы нетрудовой элемент Кузькин разлагал наш колхоз. Либо пусть работает в колхозе, либо пусть уходит с нашей территории. Просим исполком утвердить решение нашего колхозного собрания об исключении Кузькина Федора Фомича.

Гузёнков сел, а Мотяков злорадно посмотрел на Фомича:

– Ну, что теперь скажешь? Небось оправдываться начнешь?

– А чего мне оправдываться? Я не краду и не на казенных харчах живу, – сказал Фомич.

– Поговори у меня! – крикнул Мотяков.

– Дак вы меня зачем вызывали? Чтоб я молчал? Тогда нечего меня и спрашивать. Решайте как знаете.

– Да уж не спросим у тебя совета. Обломаем рога-то враз и навсегда. – Мотяков засмеялся, обнажив свои стальные зубы.

– Товарищ Кузькин, почему вы отказываетесь работать в колхозе? – вежливо спросил Демин тихим хрипловатым голосом.

Длинные белые пальцы он сцепил на колене и смотрел на Живого, слегка откинувшись назад.

– Я, товарищ Демин, от работы не отказываюсь. Цельный год проработал и получил из колхоза по двадцать одному грамму гречихи в день на рыло. А в колхозном инкубаторе по сорок граммов дают чистого пшена цыпленку.

– Скажи ты, какой мудрый! Развел тут высшую математику... – сказал Мотяков. – А я тебе политику напомним: работать надо было лучше. Понял? Распустились! Небось год назад и не пикнул бы. Права захотел. А я тебе обязанности напомним.

Демин обернулся к Мотякову и сказал тихо, будто извиняясь:

– Товарищ Мотяков, с этими методами кончать надо. С ними вы далеко не уедете.

– Уедем! – крикнул Мотяков.

Демин как бы от удивления вскинул голову и сказал иным тоном:

– Товарищ Мотяков!

– Ну, ну... – Мотяков что-то невнятное пробормотал себе под нос и уткнулся в стол.

– Так, значит, вы отказываетесь работать? – опять ровным голосом спросил Демин Кузькина.

– Я, товарищ Демин, работать не отказываюсь. Я только бесплатно не хочу работать. У меня пять человек детей, и сам я инвалид Отечественной войны.

– Видали! Он себе зарплату требует... Вот комиссар из «Красного лаптя», – засмеялся опять Мотяков. – Ты сначала урожай хороший вырасти, а потом деньги проси. Дармод!

– А ты что за урожай вырастил? – спросил, озлобясь, Живой. – Или ты не жнешь, не сеешь, а только карман подставляешь?!

– Поговори у меня! – стукнул кулаком по столу Мотяков.

– Семен Иванович! Да успокойтесь, в конце концов. – Демин опять пристально, с выдержкой посмотрел на Мотякова.

Тот надулся и затих.

– Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один состоите в колхозе, и тем не менее вы один отказывались работать! – сказал Демин.

– Станный вопрос! – ответил Фомич. – А если я, к примеру, помирать не хочу? Или вы тоже скажете: не ты первый, не ты последний?

– Разумно, – усмехнулся Демин. – Но, товарищ Кузькин, надо же сообща болеть за свой колхоз.

– Мы болеем, – ответил Кузькин. – Да болезнь-то у нас разная. У меня брюхо сводит, а вот у Гузёнова голова с похмелья трещит.

– Давай без выпадов! Тоже критик нашелся, – не выдержал опять Мотяков.

– Но, товарищ Кузькин, почему у вас такой плохой колхоз? Кто же виноват?

– Война виновата, – сказал Мотяков.

Кузькин пристально, подражая Демину, поглядел на него:

– Война-то виновата... – и обернувшись к секретарю: – Вы, товарищ Демин, знаете, как у нас картошку потравили?

– Какую? – очнулся Гузёнов.

– Семенную!

– Ну, ну? – заинтересованно подался Демин.

– Перебирали ее, перебирали – пошли на обед. Вернулись, а ее три коровы пожирают – хранилище проломили, прямо с неба сошли... Бока во разнесло.

– Как же так? – Демин глянул на Гузёнова. Тот весь напыжился и только головой мотнул.

– Его работа, – сказал Кузькин. – Нагородили чурку на палку... Он плотников привозил. Премияльные платил им, быка съели. А хранилище слепили – свинья носом разворотит.

– А что потом с картошкой? – спросил Демин.

– Гузёнов сказал: всю картошку перевезти в подвал к Воронину, к нашему бригадиру. Весна подошла – а Пашка Воронин и говорит: нету картошки, вся померзла.

– А вы писали куда-нибудь, в районные инстанции?

– Писал. А что толку? Писать в нашу районную инстанцию – это одно и то же, что на луну плевать.

– Кому это ты писал? – поднял голову Мотяков.

– Тебе, например.

– Мне? Не помню. – Он обернулся к Тимошкину: – Тимошкин, было?

– Не поступало, – выпалил тот.

– А это что? Не твоя подпись? – Кузькин вынул из кармана открытку и сунул ее Тимошкину. – У меня письмо с муд... уведомлением. Знаю, с кем дело имею.

Тимошкин покосился на открытку:

– Мою подпись надо еще документально доказать. А может быть, это подделка?

– А ну-ка? – Демин подошел к столу и взял открытку. – Товарищ Мотяков, в этом деле разобраться надо.

– Это само собой... Разберемся. Кто письмо потерял, кто факты извратил... Виноватых накажем.

Скрипнула дверь, вошла секретарша:

– Товарищ Демин, вас к телефону. Из обкома звонят.

– Хорошо!

Секретарша ушла.

Демин положил открытку перед Мотяковым.

– Так разберитесь, – и вышел.

– Чего с ним говорить! – махнул рукой Гузёнов. – Известный элемент... отпетый.

– В тридцатом году я колхоз создавал, а вы, товарищ Гузёнов, на готовенькое приехали. Еще неизвестно, чем вы-то занимались в тридцатом году.

– Мы тебя вызвали не отчитываться перед тобой! – оборвал Живого Мотяков. – А мозги тебе вправить враз и навсегда. Понял? Будешь в колхозе работать?!

– Бесплатно работать не стану.

– А что вы, собственно, хотите? – спросил Умняшкин.

– Выдайте мне паспорт. Я устроюсь на работу.

– Мы тебе не паспорт, а волчий билет выпишем, – сказал Мотяков. – Выйди в приемную! Когда надо – позовем.

Живой вышел.

– Ну, что с ним делать? – спросил Умняшкин, грузный немолодой человек с лицом сумрачным, усталым, с тем выражением насупленной серьезности, которое бывает у много проработавших сельских врачей.

– Дадим ему твердое задание... в виде двойного налога, – сказал Мотяков. – А там видно будет.

– Но ведь налоги отменены! – возразил Умняшкин.

– Это с колхозников. А поскольку его из колхоза исключили, значит, он вроде единоличника теперь.

– И мясо с него, и шерсть, и яйца... все поставки двойные! – подхватил Тимошкин.

– Ну, как? – обернулся Мотяков к членам исполкома.

– Не то, – сказал председатель Бреховского колхоза Звонарев, прозванный за свой огромный рост Петей Долгим. – На трудодни ему не заплатили. Надо искать выход. Положение трудное.

– Все ясно, как дважды два – четыре. – Мотяков даже ладонью прихлопнул. – Исключить из колхоза – и твердое задание ему враз и навсегда.

– А я бы отпустил его, – возразил Петя Долгий. – И надо помочь устроиться.

– Это называется либерализмом, – сказал Мотяков. – Если мы станем пособничать лодырям и летунам – все колхозы развалим. Сегодня один уйдет, завтра другой... А работать кто станет?

– У нас не уходят, – сказал Петя Долгий.

– Дак у тебя колхоз на ногах стоит, а у Гузёноква на четвереньках... Разница! Ты диалектику не понимаешь, враз и навсегда.

– Правильно, Семен Иванович! – подхватил Тимошкин. – На Кузькине пример воспитания надо показать... неповадности то есть. Двойные поставки с него и мяса, и шерсти.

– Лихо, лихо, – сказал Умняшкин. – Тогда уж и две шкуры с него берите.

– А что? – отозвался Мотяков. – По обязательным поставкам положено было сдавать шкуру. Пусть сдает две. Тимошкин, пиши!

– Но ведь он же инвалид третьей группы, – сказал Умняшкин. – Вы хоть это учтите.

– Подумаешь, трех пальцев не хватает, – усмехнулся Мотяков. – Ты не смотри, что он такой – на заморенного кобеля смахивает. Он еще нас с тобой переживет. Ставим на голосование: кто за исключение, прошу поднять руки!

Мотяков, Гузёнков, Тимошкин проголосовали за исключение. Умняшкин и Петя Долгий против.

– Большинство за, – торжествующе отметил Мотяков.

– Х-хе, большинство... в один голос, – усмехнулся Петя Долгий.

– Один голос, да мой, – Мотяков поднял палец вверх. – Сравнил тоже – мой голос и твой голос, – и крикнул в дверь: – Позвать Кузькина!

Живой на этот раз вошел с мешком в руках. Мотяков подозрительно поглядел на мешок:

– Поди, поросят тащил в мешке?

– Ага... Поторопился. Не то вы все равно отберете.

– Поговори еще! Я отобью у тебя охоту. Враз и навсегда. Дай сюда протокол! – Мотяков взял листок у Тимошкина и зачитал: – «В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу

семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры».

– Семен Иванович, дайте-ка, я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготавливает, – потянулся к председателю Тимошкин.

– Ты сам их и заготовишь, – сказал Фомич. – У тебя хохоталка-то вон какая. С похмелья не упишешь.

Тимошкин криво передернул ртом:

– Может, обойдемся без оскорблений? Не то ведь и за личность придется отвечать.

– Ага... Я и в тридцатых за тебя отвечал. А твой отец в лавке колбасой торговал.

– Вопросы имеются? – спросил Фомича Мотяков.

– Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? – Фомич невинно глядел на Мотякова.

Тот важно, официальным тоном сказал:

– Хотя сейчас вези...

– Все?

– Все, все!

– Деньги я внесу... Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам – телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам... Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.

– Где нашел одну, там и другую найдешь, – сказал Мотяков.

– Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие. Кто-то из заседателей прыснул. Умняшкин закрылся ладонью – только глаза одни видны, и те от смеха слезились тоже. Петя Долгий заклевал носом и как-то утробно закурлыкал. А Мотяков рывкнул, побагровев, и грохнул кулаком об стол так, что Тимошкин подпрыгнул от испуга.

– Вон отсюда! Враз и навсегда...

На улице все так же моросил дождь с мокрым снегом пополам. Фомич накинул на голову мешок и побрел по грязной улице. На душе у него было тошно, весь запас бодрости и сарказма он израсходовал в кабинете Мотякова. И теперь впору хоть ложись посреди дороги в грязь и реви. Выпить бы, да в кармане ни гроша...

На краю Тиханова, напротив бывшей церкви, а теперь зерносклада, стоял на отшибе обшитый тесом, когда-то утопавший в саду попов дом. В жаркий день, выходя из Тиханова, здесь у колодца обычно приостанавливались прохожие, напивались впрок. Фомич вдруг почувствовал усталость и дрожь в коленках. «Черт, как будто мешки таскал... Вот так исполком». Он прислонился к творилам колодца, поглядел на попов дом. «Вот и исповедальня. Надо зайти», – решил Фомич.

В поповом доме теперь помещался райфо. В крайнем боковом кабинете сидел Андрюша, прямо из-под стола высунув свою деревянную ложку, считал на счетах.

– Здорово, сосед! – весело приветствовал он Фомича. – Ты что такой мокрый да бледный? Как будто черти на тебе ездили?

– Черти и есть. – Фомич присел на обитый черной клеенкой диван и перевел, словно после длительной пробежки, дух. – Вот исповедоваться к тебе пришел. Ты же в поповом доме сидишь.

И Фомич рассказал все, что было на исполкоме. Андрюша долго озабоченно молчал, перебирая костяшки на счетах.

– Вот что сделай – возьми бумагу от них с этим твердым заданием. Ружье спрячь, козу продай. А велосипед оставь. Он у тебя все равно старый. Пускай что-нибудь да конфискуют. Потом подашь жалобу. И обязательно достань справку в колхозе – сколько ты там выработал за год трудоней.

– Да кто мне ее даст?

– Схитрить надо. Изловчиться.

– А не вышлют меня?
– Могут и выслать, по статье тридцать пятой – без определенной работы, как бродягу.
– А инвалидов не высылают?
– Инвалидов нет. Но у тебя же третья группа. Должен еще работать.
– А я что, от работы отказываюсь? Пусть выдают паспорт – устроюсь.
Андрюша только руками развел:
– Сие от нас не зависит. Ты вот что запомни – придут к тебе имущество описывать, веди себя тише воды, ниже травы. Понял? Задираться начнут – не вздумай грубить. Сразу загремишь. Пусть берут, что хотят. Только помалкивай. Это заруби себе на носу!

7

Комиссия нагрянула после праздников, по снегу. Фомич успел и козу продать, и ружье припрятать. Ружье он обернул промасленными тряпками и засунул в застреху на дворе. Старый пензенский велосипед, еще довоенный, облупленный, как запаршивевшая лошадь, стоял в сенях, прямо перед дверью: «Вот он я! Хотите – берите, хотите – нет».

Комиссия была из пяти человек – во главе инспектор райфин-отдела по свистуновскому кусту Настя Протасова – большеносая, стареющая дева по прозвищу Рябуха, за нею бригадир Пашка Воронин да еще трое депутатов Совета – здоровенные трактористы из Свистунова. «Эти на случай, если я брыкаться начну», – подумал Фомич. Он юркнул в чулан и притворился спящим.

– Можно к вам? – послышался в дверях Настин голос.
– Проходите, – сказала Авдотья.
– Здравствуйте, – разноголосо донеслось от порога. – А где хозяин?
– Вон, в чулане на лавке.
Настя приоткрыла занавеску:
– Ты что, ай заболел?
– Мне болеть не положено. Ведь я Живой! – Фомич встал с лавки. За столом расселись трактористы и Пашка Воронин.
– Извиняйте, гости дорогие! Угощать-потчевать вас нечем, – сказал Фомич. – До вашего прихода были и блины, и канки, а теперь остались одни лихоманки... Что ж вы не предупредили, что придете?

Трактористы дружно засмеялись. А Настя набросилась на Фомича:
– Что ты комедию ломаешь? Ты лучше скажи, когда налог думаешь вносить?
– А мне, Настя, думать никак не возможно. За нас думает начальство. А нам – только вперед! Назад ходу нет. За меня вон Пашка Воронин думает.

Трактористы снова засмеялись, а Пашка нахмурил желтые косматые брови и угрожающе сказал:

– Мы пришли не побасенки твои слушать. Понял?
– И тебе, Федор Фомич, не стыдно? – пошла в наступление Настя. – Такой лоб, и не работаешь! Вон бабы и то целыми днями с фермы не уходят. А ты на лавке дрыхнешь.
– Это ж просто симулянт! – подстегнул ее Пашка.
– Да он хуже! Тунеядец и протчий элемент, которые раньше в паразитах ходили.

Настя и Пашка точно старались друг перед другом раззадорить Фомича. Он мигом смекнул, в чем дело; сел на табуретку, скрестил руки на груди и эдаким смиренным голосом произнес:

– Эх, Настя... И ты, Паша! Понапрасну вы свое красноречие расходуете. Я стал человеком религиозным. Это я раньше не верил ни в бога, ни в черта, ни в кочергу. Ты мне слово – я

тебе десять в ответ; ты меня – царап, я тебя – по уху. А теперь я прочел в Евангелии: ударь меня в правую щеку – я подставлю левую. Так что кляните меня, как хотите, и берите, что хотите.

– Кто тебя предупредил? – простодушно спросила Настя.

– А черный ворон в лесу. Ходил я ноне с утра за дровами. Смотрю, сидит на дубу: «Карр! Придут к тебе Настя с Пашкой в гости, смотри не обижай их».

– Чего болтовню его слушать! Давайте опись составлять, – сказал раздраженно Пашка.

Настя вынула из портфеля протокольную книжечку.

– Где твое ружье? – спросил Пашка.

– Продал.

– Не ври. Спрятал, наверное?

– Ищите.

Пашка Воронин разогнулся во весь свой длиннющий рост, посмотрел на печь, пошарил за трубой, потом вышел в сени.

– Возьми лестницу, на чердак слазь! – сказала ему Настя.

– Чего там лестницу! У него не чердак, а шесток. Рукой достанешь.

Воронин и в самом деле приподнялся на цыпочках, вытягивая шею, как журавель.

– Ты смотри, избу не развали, жираф! – сказал Фомич. – Не то придется тебе новый сруб ставить.

– Я б те срубил клетку, как для обезьяны. Да в зверинец бы тебя, лодыря, отправил.

Фомич вдруг вспомнил, как Пашкин брат Воронок так же вот шнырял по лизунинской избе после бегства хозяина. Накануне Воронок приказал Фомичу вписать Нестеру Лизунину в твердое задание один центнер семян моркови: «И чтоб в двадцать четыре часа рассчитался!» Воронок был председателем сельсовета. Его указ – закон для секретаря. Фомич и вписал. А к вечеру зашел Нестер: «Федор, ты знаешь, на сколько хватит этих семян моркови?» – «На сколько?» – «На весь район!.. Где ж я столько возьму?» Тогда-то Фомич и выдал отпускную Нестеру Лизунину, а ночью тот смылся со всей семьей.

Фомич смотрел теперь на Пашку, а в глазах у него стоял старший Воронок тех дней. «И что за порода нахальная такая! Хлебом их не корми. Дай только покомандовать. Или что отобрать. И ведь с лица совсем не схожие – один рыжий, долговязый, с длинной лошадиной мордой, второй коренаст, черен был в молодости, как жук навозный. А хватка у обоих мертвая. Видать, в отца пошли... Того все по этапам гоняли – первый вор был в округе...»

Пашка спрыгнул со стены, отряхнул рукава от пыли.

– Ну, что там? – спросила Настя.

– Глина да пыль. У него там и мякины-то нет. Сожрал, что ли?

– Домовому скормил. Он у меня цельный год на одной мякине сидит. Трактористы опять дружно, как по команде, засмеялись.

– Где добро-то храните? – спросила Настя Авдотью.

– Да рази ты не видишь? У меня его, добра-то, навалом. Что на печи, что на кровати, – ответил опять Фомич.

– Ты не валяй дурака. Где сундук?

– Под кроватью.

Пашка вытащил из-под кровати зеленый, окованный полосовым железом сундук – Авдотьино приданое.

– Смотри! – сказал он Насте, а сам деликатно отошел к столу и подсел к трактористам.

Настя откинула крышку, и вдруг Фомич заметил среди старого тряпья Дунин кошелек с шишечками. «Мать ты моя родная! Там же козья выручка – три сотни рублей! Все богатство». У Фомича дух захватило, когда он увидел, что Настя цопнула кошелек и открыла шишечки. Первая мысль была – выхватить у нее кошелек. А потом? Эти же волкодавы задушат его. Он

вспомнил наставление Андрюши: «Не груби! Пусть что хотят, то и берут». Фомич аж зубами скрипнул от досады и отошел подальше от греха.

– Дуня! – позвала Настя. – Иди-ка сюда.

Подошла от печи хозяйка.

– Смотри-ка! – потянула ее к сундучку Настя. – Это облигации. В тряпье хранить их не след. – И она сунула в руку оторопевшей Авдотье кошелек с деньгами.

– Ах ты, батюшки мои! Как это ребята не добрались до них, – запричитала Авдотья. – Федя, ты, что ль, их бросил сюда? – Между тем она торопливо упрятала кошелек за пазуху.

– Ты все валишь на меня, растереха! – нарочито строго проворчал Фомич, а на душе у него отлегло: «Ай да Настенка, ай да Рябуха! Совесть какая! Гляди-ка ты. А еще в старых девках числится...»

– Да тут и описывать нечего – одни шоболы, – сказала Настя от сундука. – Коза-то целая?

– Давно уж и поминки справили, – ответил Фомич.

– Чего ж тогда брать?

– Возьмем велосипед, – сказал Пашка.

Настя вписала в квиток велосипед и ткнула Фомичу:

– На, подпиши!

Фомич поставил подпись. Потом в сенях вручил Насте велосипед и продекламировал:

– Эх! Что ты ржешь, мой конь ретивый? Послужил ты мне правдой верною. Теперь отдохни и мне отдых дашь.

Настя передала Пашке облупленный Фомичов велосипед, и комиссия в полном составе отбыла.

– Федя, продадут теперь твой велосипед, – вздохнула Авдотья, взглядом провожая из окна эту процессию.

– Не бойся, мать. Хорошие люди не купят. А плохие и взяли бы, да денег пожалеют. Они задарма привыкли все брать. А велосипед мне приведут... Кто брал его, тот и приведет...

На другой день Фомич сходил в Свистуново в правление колхоза и сказал счетоводу:

– Корнеич, что-то на меня наваливается беда за бедой. Прямо дух не успеваю переводить.

– А что такое?

– Да глядя на вас, и райсобес озорует. Говорят, что, мол, у тебя минимума трудодней не выработано. А потому – половину пенсии с тебя удержим.

– Ну, это они против закона.

– Поди попробуй втолкуй им. Ты мне напиши справку – сколько я трудодней за год выработал.

– Это можно.

Корнеич выписал Фомичу справку «в том, что он со своей семьей выработал за год 840 трудодней». И печать приложил.

Фомич тщательно прочел ее, сложил вчетверо и удовлетворенно сказал:

– Ну, теперь вы, голубчики, попались у меня. Я эту справку не в собес отправлю, а в ЦК пошлю.

– Ну-ка дай сюда! – грозно поднялся Корнеич, но Фомич выкинул ему под самый нос кукиш:

– А этого не хотел! Так и передай Гузёнкову.

– Я скажу, что ты выманил ее обманом.

– Привет! – махнул Фомич малахаем. – Приятного разговора с Михал Михалычем.

Придя домой, Фомич вырвал из тетради двойной лист и на весь разворот начертил химическими чернилами круг. По этому ободу он вывел большими буквами: «Заколдованный круг Тихановского райисполкома». А в центре круга написал: «Я, Федор Фомич Кузькин, исключен из колхоза за то, что выработал 840 трудодней и получил на всю свою ораву из семи человек

62 килограмма гречихи вместе с воробьиным пометом. Спрашивается: как жить?» К этому чертежу Фомич приложил справку о выработке трудодней и жалобу, в которой изложил, как его исключали, как выдали «твердое задание» и потом отбирали велосипед. Жалобу начал он «издала». «Подходят выборы. Советский народ радуется: будет выбирать родное правительство. А моя семья и голосовать не пойдет...» Все эти сочинения Фомич запечатал в конверт, написал адрес обкома, на имя самого первого секретаря Лаврухина, и пешком сходил на станцию Пугасово за сорок километров. Там опустил конверт в почтовый ящик на вокзале – «здесь не догадаться проверить». И, довольный собственной хитростью, выпил за успех – взял кружку пива, сто пятьдесят граммов водки, смешал все, и получился прелестный ерш.

8

О том, что жалоба сработала, Фомич догадался потому, как неожиданно-негаданно зашел однажды под вечер Пашка Воронин и, не разгибаясь в дверях, через порог сказал:

– Забери свой велосипед. Он в сельсовете стоит, в Свистунове.

– Я не имею права, – скромно ответил Фомич. – Кто его брал, тот пусть и приведет.

– Как же, приведут. На моркошкино заговенье. – Пашка хлопнул дверью и ушел.

– Ну, мать, теперь жди гостей повыше, – изрек глубокомысленный Фомич.

Через день пополудни они нагрянули. Один совсем молоденький, востроносый, просто одетый – полушубок черной дубки, на ногах черные чesанки с калошами. На втором было темно-синее пальто с серым каракулевым воротником и такая же высокая – гоголем – шапка. И телом второй был из себя посолиднее, с белым мягким лицом, и смотрел уважительно. Вошли, вежливо поздоровались, сняли шапки, обмели у порога ноги и только потом прошли к столу.

– Вы писали жалобу? – спросил Фомича тот, что посолиднее.

– Не знаю, – Фомич выжидающе поглядывал на них. Авдотья замерла возле печки с ухватом в руках – чугунок с картошкой выдвигала, чтоб немного остыл к обеду.

– Мы представители обкома, – сказал младший.

– Не знаю, – Фомич и ухом не повел.

– А-а, понятно! – улыбнулся востроносый. – Федор Иванович, покажите ему бумаги.

Тот, что посолиднее, вынул из бокового кармана конверт с бумагами и протянул Фомичу. Живой взял конверт, проверил бумаги – все писано им, но ответил опять уклончиво:

– Не знаю... Кто такие будете?

– Да вы, товарищ Кузькин, воробей стреляный! – засмеялся опять востроносый. – Вот наши документы. – Он протянул Фомичу свое обкомовское удостоверение, за ним последовал и солидный.

Фомич, не торопясь, прочел удостоверения и только потом предложил сесть к столу.

Вошли ребята – сразу втроем – с сумками в руках и, не глядя, кто и что за столом, заговорили от порога:

– Мам, обедать!

– Да погодите вы, оглашенные. Не успели еще порог переступить. Как грачи. Не видите – люди за столом.

– Нет, нет, кормите! – быстро встал из-за стола молодой. – Мы посидим, подождем.

Фомич вынес из чулана лавку и усадил обкомовцев.

Авдотья налила чашку жидкого гречневого супа и поставила в алюминиевой тарелке очищенную, мелкую, как горох, картошку. Ребята бесцеремонно осматривали гостей и только потом проходили к столу. Ели они молча, дружно и быстро, как вперегонки играли. Вместо хлеба ели картошку, макали ее в соль и отправляли в рот. Опустошив алюминиевую тарелку, выхлебав чашку супа, они полезли на печь.

– А что ж вы им второе не подали? – спросил Авдотью солидный.

– Все тут было, – ответил Фомич. – В чашке, значит, первое, а в люменево тарелке второе.

– Мам, а что было на второе? – спросил от порога меньшей Шурка.

– На второе кресты, – ответила Авдотья.

– Перекрестись, да на боковую. Так, что ли? – солидный с улыбкой смотрел на Фомича. Фомич принял шутку:

– Да живот потуже подтяни.

– Кажется, вы уж и так на последнюю дырку затянулись, – сказал солидный.

– Есть еще запас, есть, – отшучивался Фомич, похлопывая себя по животу.

Солидный вопросительно поглядел на молодого, а тот, еле заметно подмигнув Фомичу, улыбаясь, сказал:

– А вы покажите-ка нам свои запасы. – И солидному: – Начнем с подпола, Федор Иванович.

– Да, конечно. Посмотреть надо. Солидный встал и начал расстегиваться.

Фомич принял его тяжелое пальто и положил на кровать.

– Вы бы лучше повесили, – сказал солидный, с опаской поглядывая на кровать, на ветхое лоскутное одеяло.

– Да у нас на вешалке шоболья-то больше, – сказал Фомич. – Как хотите! Я повешу.

Но солидный, увидев на вешалке драную Фомичову фуфайку да обтрепанные ребячьи пиджаки, поспешно остановил его:

– Нет-нет. Пусть там лежит. Я ведь ни о чем таком не подумал. Востроносый, растягивая во все лицо подвижные смешливые губы, похлопывал дружески хозяйку по плечу:

– Ничего, ничего. Уладится. – Свой полущубок он кинул рядом с пальто на койку. – Айда в подпол! – Он сам открыл половицы и первым же спрыгнул. – Посветить чего не найдется?

Фомич подал ему зажженную лампу.

– Ну как, Федор Иванович, спуститесь? – спрашивал он из подпола.

– Да, да. – На Федоре Ивановиче был хороший черный костюм и ботинки. Он осторожно оперся о половицы. – Да тут глубоко! Без парашюта не обойдешься. А ну-ка мне точку опоры!

– Сейчас табуретку поставлю. – Фомич подал им табуретку.

Федор Иванович спустился в подпол, и они с минуту оглядывали небольшую кучу мелкой картошки.

– Это что у вас, расходная картошка? – спросил Федор Иванович.

– Вся тут, – ответил Фомич.

Они молча вылезли.

– Кладовая у вас есть?

– Нет.

– Это что ж, весь запас продуктов? – Федор Иванович ткнул рукой вниз.

– Вон еще кадка с капустой в сенях стоит.

Они вышли в сени.

– Как же вы живете? – спросил Федор Иванович растерянно.

– Вот так и живем, – ответил Фомич.

– Я же говорил вам – типичный перегиб, – сказал востроносый. – Мотяковщина!

Федор Иванович как-то посерел, и лицо его вроде бы вытянулось. Не сказав ни слова, он возвратился в избу, быстро оделся и попрощался с хозяйкой, глядя себе под ноги:

– Извините за беспокойство. Постараемся помочь. А вы пройдемте с нами, – сказал он Фомичу.

Возле бригадировой избы стоял «газик».

– Садитесь! – Федор Иванович пропустил Фомича на заднее сиденье вместе с востроносый и приказал шоферу: – Посигналь!

На звук сигнала выбежал из дому Пашка Воронин. Федор Иванович кивнул ему:

– Садитесь...

Пашка влез тоже на заднее сиденье, притиснулся к Фомичу, и поехали.

Свернули в Свистуново. Остановились возле правления.

– Пошли! – Федор Иванович вошел первым.

В правлении Гузёнова не оказалось. Лысый Корнейч высунулся из дверей бухгалтерии и сказал услужливо:

– Посидите! Я сбегаю за Гузёновым. Мигом обернусь.

– Не надо! – остановил его Федор Иванович. – Вы кто здесь?

– Счетовод.

– И отлично! Вам Кузькин знаком?

– Так точно! – по-военному ответил Корнейч.

– Завтра Кузькину лошадь выделите. Он в райком поедет.

Корнейч передернул усами и с недоумением глядел то на приезжего начальника, то на стоявшего за ним Пашку Воронина. Наконец осторожно возразил:

– Я, конечно дело, передам Михаил Михайлычу. Только это, товарищ начальник, лодырь. – И поспешил добавить: – Правление, значит, определило его таким способом.

– А это что? – Федор Иванович показал справку. – Кто ее выдавал? Правление?

Корнейч только глянул и рявкнул:

– Так точно! Я то есть. Но, позвольте сказать, товарищ начальник, эту справку он взял обманом.

– Как обманом?

– Он у меня выпросил ее для райсобеса.

– Это не важно, для кого. Верно, что он выработал столько трудодней?

– Это уж точно! – Корнейч по-прежнему стоял навтыжку, и его тяжелые, в крупных синих жилах кулаки доставали почти до колен.

– Так вот, завтра же дать Кузькину лошадь. А вы приезжайте в райком к девяти часам, – обернулся он к Фомичу.

– Товарищ начальник, я лучше пешком пойду, – сказал Фомич.

– Почему?

– Боюсь, замерзну в дороге-то. Мороз вон какой. А моя одежда что твои кружева – спереди дунет, сзади вылетит.

– Хорошо. Дайте ему с подводой и тулуп, – сказал Федор Иванович.

– Сделаем! – рявкнул Корнейч.

– А вы, – обернулся Федор Иванович к Пашке Воронину, – сегодня же возвратите Кузькину велосипед. Он у вас где хранится?

– В сельсовете.

– Вот так. – Федор Иванович, не прощаясь, вышел из правления. Фомич выбежал за ним.

– Садитесь! – сказал Фомичу Федор Иванович. – Подвезем вас до дому. Да смотрите, завтра вовремя приезжайте. И непременно на лошади.

А поздно вечером Пашка Воронин привел велосипед; он оставил машину на крыльце и постучал в окно. Когда Фомич вышел, его и след простыл.

9

Фомич лошадь все-таки не взял – хлопотно больно: надо идти в Свистуново, глаза мозолить в правлении, потом отгонять ее туда же и топать обратно пешком почти пять верст. Что за корысть? Кабы она на дворе стояла, лошадь-то, или хотя бы в Прудках. А то сбегай в Свистуново туда и обратно – ровно столько же в один конец и до Тиханова будет. И без тулупа

нельзя ехать – замерзнешь. А с тулупом еще больше хлопот: не занесешь его в райком, и в санях оставить боязно. А ну-ка кто украдет? Тогда и вовсе не рассчитаешься.

Утречком по морозцу он легкой рысцой трусил без передышки до Тиханова – мороз подгонял лучше любого кнута.

«Чудная у нас жизнь пошла, – думал Фомич по дороге. – На все Прудки оставили трех лошадей – одну Пашке Воронину, двух для фермы воду подвозить. А мужики и бабы добираться как знаешь. Ни тебе автобусов, ни машин. В больницу захотел – иди сперва в Свистуново в правление, выпроси лошадь, если дадут – поезжай. А куда-нибудь на станцию, или на базар, или в район – и не проси. У Гузёнова своя машина, у Пашки лошадь и мотоцикл, а у колхозника – шагалки. Бывало, свой автомобиль на дворе стоял – запрягай и езжай, куда захочешь. Хоть по делу, хоть в гости. А то и так просто по селу покатаешься, выпимши, к примеру, больно хорошо. И ребятам покататься с лошадью – одно удовольствие. Там в ночное сгонять, в лес съездить. Красота! А теперь они, как бродяги, целными днями без дела по лугам слоняются. А ведь раньше в зимнюю пору последний человек пеш ходил в Тиханово. Вон Зюзя-конокрад. Да и то, когда подфартит, и на чужом, бывало, проедет...»

В Тихановском райкоме Живого встретила заведующая райсобесом Варвара Цыплакова.

– Зайдем ко мне, Федор Фомич, – пригласила она любезно и поплыла впереди, загораживая собой почти весь коридор.

Время было раннее, в райкоме – пусто.

Фомич удивлен был и ее вежливым обхождением, и таким неожиданным приглашением. Обычно, когда пенсионеры собирались в райсобесе и чересчур шумно толклись возле окошечка кассы, она громовым голосом кричала из соседней комнаты на кассира:

– Егор, уйми своих иждивенцев! Не то всех вас выгоню на мороз.

А теперь она сама открывает перед Фомичом дверь – райсобес был рядом с райкомом – и пропускает его впереди себя.

– Проходите, проходите, Федор Фомич.

Было всего лишь половина девятого, Фомич не торопился. Он сел поудобнее на клеенчатый диван. «Уж коли ты вежливость несусветную проявляешь, – подумал он, – то и я тебя отпотчую». Он достал кисет, свернул «козью ножку» толщиной с большой палец и зачал колечками в сторону начальства крепчайшим табачным дымом.

– Я давно еще хотела с тобой, товарищ Кузькин, все поговорить. Кх-а, кх-а! Да ведь ты не заходишь. На дороге тебя не словишь. Кх-а, кх-а! Да что у тебя за табак? Аж слезу вышибает.

– А ты нюхни, Варвара Петровна, своего, – сказал Фомич, подмигивая. – И все пройдет. Клинь клином вышибают. У тебя, чай, покрепче моего будет.

Варвара Петровна нюхала табак. Но эту свою слабость она скрывала от посетителей.

– Да я ведь просто так, балуюсь иногда. Да уж ладно! За компанию, пожалуй, нюхну. – Варвара Петровна, смущенно улыбаясь, достала из стола большую круглую пудреницу с черным лебедем на крышке, насыпала оттуда на большой палец щепотку нюхательного табаку и сунула сначала в одну ноздрю, потом в другую. Потом она как-то тихо и тоненько запищала, закрыла глаза ладонью, все больше выпячивая нижнюю губу, судорожно глотая воздух, и вдруг как рывкнет! Фомич даже вздрогнул, поперхнулся дымом и тоже закашлялся.

– А-а-а-а! Чхи! Хи-и-и! Ой, батюшки мои! – говорила, улыбаясь и вытирая слезы, вся красная, словно утреннее солнышко, Варвара Петровна.

– Кха! Кх-а! Кх-и-и! Черт те подери! – выругался Фомич, сморкаясь и вытирая слезы за компанию с Варварой Петровной.

– Ах, грех мне с вами, Федор Фомич! – Варвара Петровна спрятала наконец пудреницу с лебедем и сразу приступила к делу: – Ведешь ты себя прямо гордецом, товарищ Кузькин. Ведь нуждаешься?

– Да как сказать, – уклончиво ответил Фомич, – с какой стороны то есть...

– В том-то и дело. Нет чтобы зайти ко мне, поговорить, заявление написать. А то приходится все за вас делать. Ведь я одна, а вас, пенсионеров, не перечесть.

– Мы на тебя не в обиде, – на всякий случай ввернул Фомич.

– То-то и оно-то. Сказано – стучащему да откроется. А вас надо мордой тыкать в дверь, как кутят. Сами-то небось не подойдете. Да уж ладно. Чего там манежить! – Варвара Петровна открыла серую папку, взяла сверху деньги и протянула Живому. – Здесь пятьсот рублей. Бери! Единовременное пособие. И вот тут в ведомости распишись.

Фомич взял деньги и стал медленно пересчитывать их. Пока он считал деньги, мысли его лихорадочно работали: «Кабы мне тут не продешевить? Ежели она вписала эти пятьсот рублей в ведомость, то они никуда от меня не уйдут. Но брать ли их сейчас – вот вопрос. Я ее не просил об этом. Значит, начальство нажало... И что ж получится? Не успели еще мое дело разобрать, а я уже пятьсот рублей взял. Значит, все подумают, что я эту кашу заварил из-за денег. Э-э, нет! Так не пойдет...»

Фомич аккуратно сложил деньги, пристукнул пачкой по ладони:

– Да, верно. Тут пятьсот рублей. – И положил их обратно на стол.

– Это тебе. Пособие, говорю. Бери и расписывайся. – Варвара Петровна, улыбаясь, протягивала ведомость.

– Как же я их возьму? Я не писал, не хлопотал. И вот тебе раз! Бери деньги! Какие деньги? Откуда?

– Я ж тебе говорю – помощь, пособие!

– Пособие обсудить надо. Вот если на бюро райкома решат, тогда другое дело. – Фомич направился к двери и у порога сказал, обернувшись: – А за вашу заботу, Варвара Петровна, спасибо!

Оторопевшая Варвара Петровна только глазами хлопала.

В райкоме в комнате дежурного уже толпился народ. Вчерашнего Фомичова гостя – востроногого, в черном полушубке – окружили несколько председателей колхозов, среди которых был и Гузёнков.

– Товарищ Крылышкин, а в наш район будут направлять тридцатитысячников? – спрашивали востроногого.

– Бюро еще не собиралось. Но, по-моему, будут.

– В какие колхозы?

– Кого, товарищ Крылышкин?

– Этого я не могу сказать.

– А вы сами не думаете в колхоз?

– Не думать надо, а решаться, – ответил востроносый.

– Во-во! Думает знаешь кто? Гы, гы...

– Товарищ Крылышкин, давайте ко мне! Нам зоотехник нужен позарез.

– Голова! Он вместо тебя сядет... Столкнет!

– А я подвинусь. На одном стуле усидим.

– С тобой усидишь! У тебя сиделка-то шире кресла. Ха, ха!

– Федор Иванович идет! – крикнул от стола дежурный, и шумный кружок председателей мигом рассыпался и затих.

По лестнице тяжело поднимался Федор Иванович. Шапку он держал в руках, и только теперь Живой заметил – сквозь редкие зализанные волосы у Федора Ивановича просвечивала большая розовая лысина. Рядом с ним шел Демин, а сзади в своем военном френче и в сапогах твердо печатал шаги Мотяков. Выражение лица у него было такое, с каким начальник караула обходит посты: кто бы ни взглянул на него сейчас, сразу понял бы – все эти шумные председатели приумолкли при появлении его, Мотякова, а не какого-нибудь Федора Ивановича.

– Здравствуйте, Федор Иванович! – между тем раздалось со всех сторон.

И Федор Иванович любезно отвечал всем:

– Здравствуйте, товарищи, здравствуйте! – и улыбался при этом.

Глядя на него, все вокруг тоже улыбались, и Фомич, сам не зная почему, тоже улыбался.

– Здравствуйте, товарищ Кузькин! – Федор Иванович протянул руку Живому, и Фомич безо всякой робости пожал эту мягкую, теплую руку.

– На лошади приехали? – спросил Федор Иванович.

– Никак нет! – ответил Живой, как вчерашний Корнеич, вытягиваясь по стойке «смирно».

– Почему? Не дали? – Федор Иванович строго посмотрел на Гузёнку.

– Холодно, Федор Иванович, – ответил Фомич, впервые называя по имени-отчеству вчерашнего гостя.

– А тулуп?

– Так ведь тулуп в райком не внесешь. А в саях оставишь – сопрут. Тогда Гузёнку с меня и третью шкуру спустит. Две-то Мотяков спустил.

Федор Иванович рассмеялся, его дружно поддержали остальные.

– Мотяков, вот так показали тебе кузькину мать, – сквозь смех говорил Федор Иванович. – Ты сапоги-то свои сшил случаем не из шкуры Кузькина?

– Его шкура на кирзовые сапоги и то не годится, – мрачно сострил Мотяков, а сам так поглядел на Живого, будто хотел сказать: «Ужо погоди, я тебе покажу такую кузькину мать, что слезами красными обольешься».

Федор Иванович вынул из кармана бумагу и показал ее Мотякову:

– Кто писал это твердое задание?

– Тимошкин, – по-солдатски ответил Мотяков.

– А кто подписывал?

Мотяков с минуту разглядывал свою подпись и выдавил наконец:

– Я.

– Так вот за это твердое задание мы с тебя штаны спустим, – и деловым тоном приказал Демину, кинув на Живого: – Сперва решим с ним.

– Проходите, товарищ Кузькин!

Демин пропустил Фомича в свой кабинет.

Народу ввалилось много, все расселись вдоль стен. «Как в шеренгу вытянулись», – подумал Живой. Ему приказали остаться у торца длинного стола, покрытого зеленым сукном. На противоположном конце на секретарское кресло сел Федор Иванович, рядом с ним – Демин. Мотяков теперь пристроился на отшибе, и Фомич глядел на него как бы с вызовом даже.

– Ну, докладывайте, Гузёнку, что у вас с Кузькиным? – сказал Федор Иванович.

Михаил Михайлович шумно откашлялся и, не сходя с места, стоя, сказал:

– Исключили мы его как протчего элемента... Потому что не работал.

– Как не работал? А восемьсот сорок трудодней за что ему начислили? – спросил Федор Иванович.

– Так это он на сшибачках был, – ответит Гузёнку.

– Вы что там, в колхозе, в городки играете? Какие еще такие сшибачки? – повысил голос Федор Иванович.

– Ну, вроде за экспедитора он был. Где мешкотару достать какую, лес отгрузить. Или там сбрую, запчасти купить, – сбивчиво отвечал Гузёнку. – Вот за это и писали. Много написали. Недоглядел.

– Он что же, плохо работал? Не умел достать? – спросил Федор Иванович.

– Насчет этого, чтоб достать чего, он оборотистый.

– Та-ак! А что вы требовали, Кузькин? – посмотрел на Живого Федор Иванович.

– Поскольку не обеспечили мою семью питанием в колхозе, просил я паспорт. Чтоб, значит, на стороне устроиться. За деньги работать то есть.

– Понятно! А вы что? – спросил Федор Иванович Гузёнка.

– Отказали... поскольку нельзя. А за невыход на работу исключили из колхоза.

– Он вам нужен в колхозе или нет?

– Если не работает, зачем нам такой тунеядец?

– Эх вы, председатель! Такого человека выбрасывать. Сами говорите, все добывал он для колхоза. И честный, видать. Иной половину вашего оборота прикарманил бы. И жил бы – кум королю, сват министру. Ведь при деньгах был! А у этого изба, как у той бабы-яги, что на болоте живет, – свинья рылом разворотит. Дети разуты-раздеты. Самому есть нечего. А колхоз чем ему помог? Ты сам-то хоть бывал у него дома?

Гузёнков сделался кумачовым и выдавил наконец:

– Не был.

– Видали, какой фон-барон! Некогда, поди? Или авторитет свой председательский уронить боишься? Я вот из области нашел время – заходил к нему. А ты нет... Как это можно понять?

Гузёнков, пламенея всем своим объемистым лицом, тягостно молчал.

– Ты сколько получаешь пенсии по инвалидности? – спросил Фомича Федор Иванович.

– Сто двадцать рублей.

– Да, не разживешься.

– Райсобес давал ему в помощь пятьсот рублей... так отказался! – заявил, усмехаясь, Мотяков. – Видать, мало?

– Как отказался? Почему? – спросил Федор Иванович.

– Такая помощь нужна тем инвалидам, которые на карачках ползают. А у меня руки, ноги имеются. Я прошу работу, чтобы с зарплатой. И потом, чудно вы пособие выдаете, – Фомич обернулся к Мотякову. – За двадцать минут до бюро заманили меня в райсобес и суют деньги. На, мол, успокойся! Я что, нищий, что ли?

– Вон оно что! – протянул с усмешкой Федор Иванович. – А вы народ, Мотяков, оперативный. Вот что! – стукнул он карандашом по столу. – Хитрить нечего. Не смогли удержать Кузькина в колхозе. Отпустить! А вам, Гузёнков, и вам, Мотяков, впишем по выговору. Дабы впредь разбазаривать колхозные кадры неповадно было. Заботиться о людях надо. Жизнь улучшать. Пора отвыкать от старых методов – с кулаком да с палкой. Вы вон у кого учитесь с кадрами работать, – он кивнул в сторону Пети Долгого, – у Петра Ермолаевича.

– Звонарев тоже хорош, – сказал Мотяков. – Кукурузу отказался на лугах сеять.

– Почему? – спросил Федор Иванович.

– Места низкие – вымокает, – ответил Петя Долгий.

– У тебя вымокает, а у Гузёнка нет? – спросил Мотяков.

– Наоборот – у Гузёнка вымокает, а я не сеял.

– Вы что же, Мотяков, норму Звонарева Гузёнку передали? По кукурузе? – спросил, улыбаясь, Федор Иванович.

– Вроде того... А он у Гузёнка кадры переманивает.

– Ого!.. Смотри, Гузёнков, распустишь колхоз – сам пойдешь рядовым работать. Не то к Звонареву в бригады.

– В бригадах не нуждаемся, – отозвался Звонарев. – Вот доярком могу взять.

Все так и грохнули, а Гузёнков напыжился и смиренно потупил взор.

– Ну, хватит! Давайте решать с Кузькиным. Куда его устраивать? – сказал Федор Иванович, вытирая проступившие от смеха слезы.

– Дадим ему паспорт, пусть едет в город, – сказал Демин.

– Ехать не могу, – ответил Фомич.

- Почему?
- По причине отсутствия всякого подъема.
- Это что еще за прудковская политэкономия? – спросил Федор Иванович.
- Это не политэкономия, а тоска зеленая. У меня пять человек детей, да один еще в армии. А богатства мои сами видели. Спрашивается, смогу я подняться с такой оравой?
- Настрогал этих детей косою десяток, – пробурчал Мотяков.
- Дак ведь бог создал человека, а рогов на строгалку не посадил. Вот я и строгаю, – живо возразил Фомич.
- Федор Иванович опять громко захохотал, за ним все остальные.
- А ты, Кузькин, перец! Тебя бы в денщики к старому генералу... Анекдоты рассказывать.
- Так у нас в Прудках живет один полковник в отставке. Да он вроде бы занят. Там Гузёнков и днюет, и ночует, – сказал Живой.
- И все снова захохотали.
- Ну ладно, хватит! – сказал Федор Иванович, вынимая платок и утираясь. – Решайте, решайте! Быстрее.
- Может быть, на пресспункте устроим его охранником? – спросил Мотяков Демина.
- Но там же есть Елкин, – сказал кто-то. – Брёховский.
- Его убирать надо, – мрачно сказал Мотяков. – Родственники за границей объявились.
- Какие еще родственники? – спросил Демин.
- Сын. В Америке оказался. А он уж и поминки по нему справил.
- С этим торопиться не следует, – сказал Демин.
- Я возьму его к себе, – поднялся худой и нескладный Звонарев, председатель соседнего с Прудками заречного колхоза. – Мне как раз нужен на зиму лесник, заготовленный лес охранять. Плата деньгами и хлебом.
- Пойдете? – спросил Живого Федор Иванович.
- Пойду. Только пусть Гузёнков даст мне отпускную, справку выпишет. А я паспорт получу.
- Подожди там. После совещания сделаем, – сказал Гузёнков. Совещание затянулось до самого вечера. И когда Фомич пришел наконец с долгожданной отпускной справкой, его встретила в сених сияющая Авдотья:
- Иди-ка, Федя, иди в избу!
- Посреди избы при ослепительно ярком, как показалось Фомичу, электрическом свете лежали вповалку два мешка муки и три мешка картошки, а поверху на этих мешках еще два узла. Фомич потрогал мешки и определил на ощупь, что мука была сухая, а картошка крупная. Потом он развязал узлы и по-хозяйски осмотрел вещи: всего было три детские фуфайки, три серые школьные гимнастерки, три пары ботинок на резиновой подошве и три новенькие серые школьные фуражки.
- А это уж ни к чему! – взял он фуражки. – По весне-то можно и без них обойтись. Лучше бы шапки положили.

10

До самого половодья Фомич жил без заботы; муки хватило почти на всю зиму, картошки он подкупил, так что и на семена осталось. Авдотья даже поросенка завела. Фомич справил детишкам и себе валенки, полушубок купил, малахай собачий. В лес ходил с ружьем, как часовой на пост.

Как-то в марте его окликнул с завалинки дед Филат – на солнышке грелся:

– Федька, никак, ты? Подь сюда!

Фомич подошел, поздоровались.

– А я гляжу, что за бурлак идет? Иль кто со стороны приехал? – Дед Филат прищуркой смотрел на Фомича. – Ишь ты как разделся.

– Я теперь вольный казак... вроде лесничего, – похвастался Живой.

– Слыхал, слыхал. – Дед Филат поймал его за полу рыжего полушубка, помял пальцами овчину. – Мягкий. Казенный, поди?

– Сам справил. А ты как живешь, дядь Филат?

– Да ничего. Пензию вот хлопочу. Намедни в Свистуново ходил, в сельсовет. Председатель говорит: «Уходи из колхоза. Тады мы тебя как беспризорного оформим. По восемьдесят пять рублей в месяц». Хочу уйтить из колхоза. Как думаешь, пустят?

– Отпустят. Хлопочи! Меня вот отпустили. – Он вскинул ружье и пошел.

Но недолго Фомич щеголял с ружьем за плечами. С наступлением полой воды кончилась и его лесная карьера. Остатки заготовленного леса увезли по апрельскому хрусткому снегу.

– Что ж мне теперь делать? – спросил он Петю Долгого. – Не итить же назад к Гузёнкуву!

– Переходи ко мне в колхоз. Все-таки у нас за единички не работают. Голодным сидеть не будешь.

– А жить где? Ты же мне не поставишь избу?

– Это уж на общих основаниях.

– Ну конечно, – согласился Фомич. – Был бы я какой-нибудь ценный специалист, тогда другое дело. А то что? Из ружья палить либо хвосты коровам крутить каждый умеет. Колхозники не позволят строить дом такому специалисту.

– Пока будешь в Прудки ходить ночевать.

– До Прудков восемь верст! Да через реку... Ночью еще утонешь. Нет уж, спасибо и за приглашение. – Живой совсем нос повесил. – Гузёнков теперь слопаёт меня.

– погоди! – задержал его Петя Долгий. – Раскидухинская ГЭС по полой воде лес к нам забросит. Колхозам на столбы. На весь район. Пойдешь охранять этот лес?

– Пойду!

– Подожди минутку! – Петя Долгий стал накручивать телефон. – Брёхово? Раскидуху дай! А? Раскидуху? Начальника попрошу! Товарищ Кошкин? Здорово! Звонарев. Да, да. Слушай, ты нашел охранника на лес? Нет? Так я тебе подыскал. Вольнонаемного, говоришь? А он и есть такой. Нет, нет, не колхозник. Ну и тоже. Что? Из Прудков. Как раз там и базу намечаем делать. Дороги к Прудкам? Нормальные. Как везде. А? Ну и тоже.

Петя Долгий положил трубку.

– С тебя пол-литра, – пошутил он. – Ступай на Раскидуху, оформляйся в охранники. Лес пригонят по реке под самые Прудки. Работа к тебе на дом прет. Давай! – Петя Долгий сунул на прощание свою лапу и пожелал Фомичу удачи. – Да смотри не проворонь. Поторапливайся!

На лугах снег почти весь растаял, огромные лужи талой воды медленно стекали в бочаги и озера, вспучивая старый, ноздреватый, изъеденный солнцем лед. «На озерах еще не опускался лед, – думал Фомич, – значит, и река, наверно, держит. Пройду!»

В Прудки возвращался он с легким сердцем – опять ему подфартило. «До самого жнитва теперь очень даже проживем. А там новый хлеб поспеет. Воробей и тот кричит в тую пору – семь жен прокормлю! Главное – весну перебиться».

Весной пришла ему на помощь река. Милая сердцу Прокоша! Уж сколько раз она выручала его из беды в самую голодную пору. В сорок шестом году зимовать пошли без корки хлеба. Картошка и та не уродилась. Скот порезали... Казалось бы, тут и конец придет Живому. Ан нет! Наплели они с дедом Филатом сетей, прорубили лунки во льду и всю Прокошу перегородили; и колотушками деревянными били по льду и ботали – пугали рыбу. Шла плохо. Но тут впервой спустили в Оку какую-то химическую отраву. Рыба вся подалась в Прокошу. В

каждой ячее по штуке торчало. Хоть и припахивала рыба керосином, но ели всем селом за милую душу.

А в тридцать третьем с первесны и рыбы не было... Такой голод был, будто уж и рыба вся вымерла или в землю зарылась. Но и тут Прокоша спасла прудковцев; в затолах ее густо растет мудорезник.

Камыш не камыш, трава не трава, не то листья, не то стебли торчат из воды, как пики треугольные. Сунешься с бреднем в воду – промежности царапает, оттого и название имеет. Сплошное неудобство от этой травы вроде бы. И вдруг – на тебе! Старики открыли, что этот мудорезник корни питательные имеет. И вот все малые и старые усеяли берега затонов и заводей, дергали эти черные волосатые коренья, намывали целые корзины, потом сушили на крышах, толкли в ступах и пекли пышки. Ничего, есть можно... вроде бы хлебом пахнет.

И вот опять Прокоша ему работенку подкинула. «Рублей четыреста положат – и проживем», – думал Фомич. Оно еще то хорошо, что с весны в прудковский магазин стали привозить из района печеный хлеб. Привозили его, правда, один раз в неделю и давали по две буханки на двор. Но и то подспорье. К этим буханкам да еще картофельных пышек напекут – и довольна ребятня. «Теперь жить можно, – твердил про себя Фомич. – Гневаться на судьбу тоже нельзя».

К Прокоше он подошел у Богоявленского перевоза. Лед поднялся на реке и стал теперь вровень с берегами. На берегу лежал черный, неуклюжий, как огромный утюг, дощатый паром. Под его широченное брюхо приплескивала вода.

Рядом, в затишке под паромом, сидел у костра паромщик, сухой носатый старик в брезентовом плаще поверх фуфайки. В округе он известен был под именем Иван Веселый. На костре в котелке булькала вода, варилась картошка.

– Унесет водой твой ковчег-то! – сказал, присаживаясь к огню, Фомич.

– Унесет, – согласился Иван Веселый. – Они, целуй их в доньшко, на тракторе хотели утащить паром с осени. Пригнали волокушу, вытащили его на берег... А погрузить не смогли. Так и бросили его тут на берегу.

– А ты что, здесь живешь, что ли? – Фомич привстал, заглянул в паром – там весь трюм, до верхней палубы, был забит сеном.

– Паром стерегу. Не то по большой воде унесет его ажно в Оку. Им-то что! Сварганят новую колоду – привезут, бросят в реку... и валяй, Иван! А мне на нем работать. Может, новый-то не сручный будет? Пупок надорвешь. А им что?

– А уж этот у тебя сручный... – усмехнулся Живой. – Прямо амбар.

– Ну не скажи! Он легкий на ходу. Я его один до Брёхова догоняю.

– Еще бы! Паром в село пригонишь, а сено к себе на двор свезешь... У тебя губа не дура.

– Это я сам нагреб сено-то. Места от стога остались. Подстилка...

– Подстилка! – Фомич вытащил из трюма клоч мелкого ароматного сена. – Эту подстилку хоть в чай заваривай. Тут воза два будет.

– А ты не суй свой нос, куда не надоть! – окрысился Иван Веселый. – Ты лес охраняешь? Ну и охраняй. А луга идут по другой статье.

– Это я к примеру, – сказал Фомич и невесело добавил: – Я уж и в лесу боле не охранник.

– Ах кончился контракт?

– Кончился, Иван, кончился.

Живой подошел к реке.

– Как думаешь, Иван, на этой неделе тронется лед?

– Тронется! Ноне ночью суршало у берегов. Отодрало лед-то. Теперь не ноне завтра пойдет, целуй его в доньшко.

– Дай-ка мне вон ту жердину! – Фомич взял с парома легкую еловую жердь, кинул наземь.

– Зачем тебе? – Иван Веселый, задрав кадык, с недоумением смотрел на Живого.

– На ту сторону перейти.

– Да ты что, в уме? Целуй тебя в донышко! Такие забереги разлились, что озера. Потонешь.

– Вынырну. Я, брат, давно уж одеревенелый. Такие не тонут. Дай вон еще ту доску! – Он взял с палубы еще широкую доску, пошел к реке.

– Стой, живая пятница! – крикнул Иван Веселый.

– Ну?

– Ступай по берегу! Возле Прудков полынья большая. Покличь, може, оттуда лодку принесут. Переедешь тогда.

– А если не принесут? Кто меня там услышит? Теперь на реке и собаки не встретишь.

– Ну, подожди денек-другой. Лед тронется – я тебя перевезу на ту сторону на пароме.

– Мне ждать некогда.

Фомич кинул через разлившийся заберег доску: одним концом она оперлась о берег, вторым чуть накрыла край ноздреватого льда.

– Ну, господи, бласлави! – Он потихоньку пошел по доске, опираясь на шест.

Доска захлюпала по воде и стала медленно погружаться. Фомич мелким частым поскокком, разбрызгивая воду, бросился на лед. Но вдруг край льдины, на который опиралась доска, обломился. Фомич одной ногой провалился по колено в воду и с маху, оттолкнувшись шестом, бросился животом на льдину.

– Ах ты, живая пятница, целуй тебя в донышко! – ругался с берега Иван Веселый.

Фомич снял сапог, вылил воду, перемотал портянку и пошел дальше с шестом и с доской в руках. Лед на середине реки был крепкий. Фомич обходил только лужи – боялся провалиться в прорубь. А на другом берегу лед подходил к самому приплеску. Фомич даже доской не пользовался: разбежался, повис на шесте – и там.

На другой день утром рано он был уже на Раскидухинской ГЭС, стоявшей на слиянии Прокоши с Петлявкой. Почти сорок верст отмахал за сутки Живой.

Пришел как нельзя кстати – утром на Раскидухе тронулся лед, а пополудни начали вязать плоты – готовить лес к перегону в Прудки.

А еще через три дня, лишь Фомич оформился охранником Раскидухинской ГЭС, пузатый, черный, как жук, катеришко поволок три большущих звена бревенчатого плота по Прокоше. Впрочем, Прокоши уже не было, – вокруг, куда ни хватал глаз, стояло море разливанное. Ни тебе излучин, ни берегов. Хочешь – плыви по реке, а захочешь – валяй напрямки по лугам, по кустарникам. Речные берега заметны были только по торчащим из воды верхушкам прибрежных тальников да по редким створным знакам, белым и красным, как оброненные платочки в этом океане. И ни пароходов навстречу, ни лодок... Только ветер да волны. И посреди этого раздолья сидит Фомич и варит кулеш. Хорошо! И Фомич даже жалеет, что так пустынна сейчас речная дорога, что скрылись берега под водой, – нет на них ни одиноких подвод, ни рыбацких палаток, ни шалашей косцов; а то бы на него глазели из-под ладоней да покрикивали: «Эй, Фомич! Скинь бревешко!» Кричите... Как же, скину! Фомич и в ус не дует – сидит у всех на виду и ест кулеш.

Катеришко утробно храпит, фыркает, как лошадь, и тянет на длинном тросе плоты. Фомич, поужинав, зарывается в сено и спит в палатке, как бог. Палатку ему дали в конторе, а сено уж он сам раздобыл.

Спит Фомич и видит счастливый сон: будто плывет он по Волге на большом белом пароходе и стоит на самом верху, в стеклянной будке, где штурвальное колесо. И смотрит не как-нибудь, а в бинокль. «Кто там на берегу? Что за народ собравшись?» – спрашивает он вахтенного. А тот кричит ему в матюгальник: «Прудки подошли, товарищ капитан». – «Что еще за Прудки такие?» – строго спрашивает Фомич, будто и не слыхал в жизни такого слова. «На пароход просятся! – кричит вахтенный с нижней палубы. – Причаливать ай нет?» – «Скажи им, которые норму трудодней не выполнили, не посадим! – кричит Фомич вахтенному. – Я

сам проверять буду. Причаливай!» «Чуф-чуф-чуф!» – зафыркал пароход и дал гудок. Только вместо гудка заревела сирена: мм-мо-о-о! «Вроде бы корова мычит, – подумал Фомич. – Гудок, наверное, заржавел. Надо приказать, чтобы почистили». И вот Фомич сходит по трапу в белом кителе, в белой фуражке, и бинокль висит на шее. А гудок все ревет и ревет – мм-мо-о-о! «Да заткните вы ему глотку!» – приказывает Фомич вахтенному. Ему очень хочется услышать, что скажут прудковские мужики, увидев его в капитанской форме. А вахтенный вдруг как закричит в матюгальник: «Фоми-и-и-ич!» И такое ругательское загнул, что Живой очнулся. Слышит – ревет сирена на катере, а на корме стоит старшина и вопит в матюгальник:

– Фоми-и-ич! Ты что, подох там, что ли?

Фомич вылез из палатки.

– В чем дело?

– У тебя что, зенки повылазили? Видишь, к Прудкам подходим! Только тут Фомич очутился ото сна, – прямо перед катером на берегу виднелись родные Прудки; тополиная гора, где раньше стояла церковь, а теперь крытая жостью старая изба Лизунина, перевезенная туда под клуб; дальше – ветлы над соломенными крышами поредевших прудковских изб, а чуть на отшибе – белокаменные корпуса колхозного коровника под красивой шиферной кровлей, набранной в разноцветную шашку. Перед серыми прудковскими избами, соломенными дворами да плетневыми заборами белостенные коровники высились дворцами.

Катер уже вошел в старицу, на берегу которой стояли Прудки. Еще на базе Фомичу приказали причалить плоты в старице возле клуба. «Потом пришьем трактор и выкатаем бревна на берег, – сказал начальник. – Только причаливай крепче. Смотри, чтоб не унесло в реку!»

На тополиную горку народу вышло куда меньше, чем видел Фомич во сне, – больше все старухи да ребятишки. Правда, появился было Пашка Воронин, но, разглядев, кто плывет, ушел в клуб. Там у него была будка с телефоном. «Ну, теперь, поди, названивает самому Гузёнкову, – думал не без удовольствия Фомич. – Мол, так и так – Кузькин плоты гонит. Что прикажете с ним делать? “Он теперь неподвластный”, – скажет Гузёнков и матом заругается. Ругайся себе на здоровье. А мне наплевать», – думал Фомич и смотрел на горку.

Там среди ребятишек он увидел и своих; все они бегали вокруг тополей и кричали:

– Пароход! Пароход!

Когда плоты подтянули к берегу, Фомич привязал крайнюю секцию веревкой к тополи и важно, как петух, поднялся на гору. Но всю эту торжественную минуту испортила Марфа Назаркина.

– Ты, Федька, ровно корову привязал на лугу, – прошамкала она. – Мотри, кабы ребятишки не угнали твои плоты.

– Кто сунется – башку оторву! – сердито и громко сказал Фомич, но командиру катера как бы между прочим заметил: – Оно, если по правилам, конечно, мертвяки надо бы зарыть да цинковым тросом плоты причалить.

– А вода спадет – они у тебя, что ж, на горе повиснут? – Катерник был сердит за утреннюю побудку и презрительно фыркнул в свои рыжие прокуренные усы.

– Может, палатку оставишь мне? Для служебной надобности? – сказал Фомич.

– Дрыхнуть, что ли? И в избе отоспишься...

Катерник запустил свою сирену – она опять протяжно и долго мычала, потом захрапел дизель, забулькала вода под кормой, и катер, описав большую дугу, уплыл, растворился в мутных волнах Прокоши.

А Живой шел домой через все село, как с победой – ружье за спиной, котелок в руках: перед ним вприпрыжку неслись табунком его чада и, завидев свою избу, еще издали кричали:

– Ма-ам, папка кулеш привез!

11

В ночь накануне Первого мая разыгрался сильный ветер. Фомич был на плотях. Волны стали захлестывать бортовые бревна, вода пошла поверху, бревна осклизли. Потом возле берега начало будто покручивать, и секции полезли друг на дружку. Живой пытался было привязать их к тополям, но веревки то провисали качелями, то натягивались и лопались со свистом, как струны. Фомич понял, что здесь, под горой, плоты ему не удержать в эту бурную ночь. Надо было срочно перегонять их в тихое место. Но перегонять в такую пору было страшновато, да и не управиться одному. Проще всего – вытянуть бы плоты немного на берег, а вода успокоится – снова спустить. Но для этого трактор нужен. Фомич вспомнил, что целый день урчал трактор на ферме, навоз выволакивал. Надо попросить.

Он прибежал к Пашке Воронину, торопливо постучал в окно. Тот вышел на крыльцо, позевывая, увидев Фомича, в избу не пригласил.

– Тебе чего?

– Слушай, дай ты мне трактор на часок – плоты посадить на мель. Не то угонит их в реку. Вишь, какой ветер разгулялся!

– Это как же так? Дать трактор за здорово живешь! Кому? На что?

– То есть как на что? Плоты спасти! Столбы-то не мне на избу, колхозам на освещение...

– Ну так что? Трактор-то не мой, голова, а метэсовский! У него тракторист есть. А там еще и председатель. Как Михаил Михайлович решит. Иди к нему.

– Да куда я пойду в такую пору от плотов! – взмолился Фомич. – Позвони ему!

– Тебе надо, ты и звони, – лениво отозвался Пашка, поворачивая к Фомичу свою длинную спину.

– Да по чем я звонить буду? На столб телефонный лезть мне, что ли?

– А мое какое дело?

– Ну, паразит! – озверел Фомич. – Свидетели соберу сейчас. Пусть все узнают, что ты отказался государственное имущество спасать. Судить будут тебя, стервеца.

– Ты не стерви, а то я те ахну по кумполу, сразу по-другому зазвонишь, – ответил Пашка спокойным тоном. – Я тебе сказал, что тракторами не распоряжаюсь. Хочешь – бери мою лошадь.

– Да на что она мне! Звони Гузёнкову! Слышишь, не тяни. Пашка ничего не ответил и скрылся в черном дверном проеме.

Через минуту он вышел одетым.

В клубной телефонной будке Пашка долго накручивал ручку, пока ему не ответили.

– Вы что там, сдохли все, что ли? – выругался он. – Квартиру Гузёнкова мне. Михаил Михайлович? Я – Воронин. Тут плоты ветром угоняет. Да. Кузькин просит трактор, чтоб на мель их вытянуть. Как быть? У нас тут на ферме остался один на ночь. Что? Да. А? Да. Понятно.

Пашка Воронин положил трубку и, весело усмехаясь, с минуту глядел на Фомича.

– Ну, что? – не выдержал Фомич.

– Он спросил меня: кто за плоты отвечает, Кузькин? Да, говорю. Так вот, пусть эти плоты хоть сейчас сгорят все до единого, он и пальцем не шевельнет. Понял?

– Понял, – медленно выговорил Фомич и вдруг почувствовал, как у него руки от злости задрожали, и ему захотелось ударить в нахальное, смеющееся Пашкино лицо... Или нет! Взять бы сейчас промеж пальцев длинный Пашкин нос, сжать бы его, как клещами, и набок повернуть.

– Я вам это припомню, – сказал Фомич и выбежал из клуба.

На улице темь – глаз коли. Мелкий острый дождь больно сек лицо, хлестко, как дробью, бил в гулкий задубеневший полусубок.

«Надо позвать мужиков, – думал Фомич, – попытаться вывести плоты в затон, к Святому озеру. Там затишок. Но кто пойдет в такую пору?»

Он остановился возле дома Васьки Котенка, сельского пастуха, еще не женатого парня. «Ежели того уговорить, он хоть в огонь пойдет», – думал Фомич и знал, что слово на Ваську действует так же, как и на колхозного быка.

Васька хоть и получил прозвище Котенок, но ленив был, как настоящий старый кот. По лени своей он в деревне остался. Пришел из армии, мать говорит ему: «Васька, поезжай в Горький. Там половина Прудков на пароходах ходит». – «Кого я там не видал». Предлагали ему идти на курсы механизаторов. «Да кого я там не видал», – отвечал свое Васька. Устроился он стадо гонять, три года прошло, а Васька все никак кнута не может сплести. «Да когда его плести! Летом пасти коров надо... А зимой чего стараться? Может, и не придется больше коров гонять?» Так и ходил он впереди стада с палкой.

Была у Васьки еще одна слабость – любил выпить. Фомич на этой слабости и решил сыграть.

На грохот в дверь долго никто не отвечал. Потом в окне появилась круглая Васькина физиономия:

– Кого надо?

– Васька, это я. Выйди на минуту!

– Никак, ты, дядь Федя?! Чего тебе?

– Собирайся скорей! Работенка есть. – Фомич боялся, как бы Васька окна не закрыл. Тогда его не дозовешься.

– Какая еще работа в такую пору? – Васька и окна не закрывал, и не проявлял особого интереса.

– Начальник ГЭС звонил мне. Приказал плоты перегнать к Святому озеру. Полсотни на рыло обещает, – соврал Фомич.

– Ну, так завтра и перегоним. Где начальник-то?

– Да начальник там. На станции. А мне наказал расчет произвести.

– У тебя что за деньги? В твоём кармане – вошь на аркане.

Васька взялся за оконную створку, намереваясь прихлопнуть ее перед носом Фомича.

– Да ты обожди, обожди! – поймал его за руку Фомич. – Он мне наказал после работы литру водки поставить.

Васька чуть подался вперед:

– А не врешь?

– Ну ты что? Начальник велел. Приказ начальника – закон для подчиненного. Сам знаешь – служил в армии.

– Обожди маленько, – коротко сказал Васька и захлопнул окно.

– Ну, слава те господи! Одного уговорил, – облегченно вздохнул Фомич. – Еще кого? Хотя бы по человеку на секцию...

Через минуту Васька вышел, застегиваясь на ходу.

– Дядь Федь, а еще кого не надо?

– Одного бы человечка не мешало.

– Обожди маленько. – Васька перебежал через дорогу и постучался к Губановым: – Гринь, выйди-ка!

Вышел тот самый тракторист, которого пытался заполучить Фомич у председателя. Перекинувшись двумя словами, Васька с Гринькой подошли к Фомичу.

– Дядь Федь, а трактором нельзя оттащить плоты по берегу? – спросил Васька.

– Можно попробовать, – безразличным тоном сказал Фомич. – Мне все равно.

– Мы сейчас сбегает заведем трактор и в момент пригоним, – сказал Гринька.

– Только через село не гоните, – остановил их Фомич. – Нечего народ булгачить. Давайте по берегу.

– А нам все равно. Пошли! – И Гринька с Васькой исчезли в темноте.

«Видать, бог-то есть, – думал, ухмыляясь, Фомич. – Вон он как все рассудил. Не хотели мне тракториста дать, чтоб подтянуть плоты... Так теперь я их за версту отведу, к Святому озеру. И не то что на мель – на сухо вытяну».

К утру все три плота лежали на пологой отмели Святого озера возле самых коровников. Фомич ликовал: только теперь он понял, что там, в конторе, дали промашку – распорядились причалить возле клубного крутояра. Спала бы вода, их еще пришлось бы вытаскивать трактором из озера. Месяц работы. Да трактор надо гнать за тридцать километров. А здесь они – вода спадет – на сухом месте. И подъезды к ним хорошие. Подгоняй любую машину, нагружай и вези, куда хочешь. «Выходит, я не одну тыщу сэкономил. Может, еще и премию отхвачу. И все за литру водки! Вот тебе и полая вода...»

Половодье в Прудках – пора веселого отдыха и кратковременной дармовой добычи. Ребятишки день-деньской кричат, как грачи, на тополиной горке – кто в городки играет, кто в лапту, и на шармака, и в ездущки: проиграешь – вези соперника на своей спине от кона и до кона. Старухи спозаранок выползают на завалинки и долго греются на солнце, из-под ладони смотрят, как переливается в солнечном блеске желтовато-мутная неоглядная вода. «И куда она вся деется?» – «Вода-то?» – «Ну!» – «Сказывают, в море». – «А у моря что ж, ай дна нет?» – «В пропасть уходит...» – «Ах, ба-аюшки мои!»

Старики в такую пору не судачат; вместе с мужиками, которые на технике не заняты, шныряют они в лодках по лугам – подбирают плывущие бревна, спиливают сухостой, грузят в лодки, а тяжеленные коряжины буксируют на веревках. В хозяйстве все пригодится... Мало какое добро выносит полая вода; иной в лодке везет бревна, а в руках ружье держит: того и гляди, утка вылетит из-за леса или заяц подвернется на каком-либо незатопленном острове. Приберут. Прудковские жалости не имут.

В такую пору по мутной вольной воде начинает биться лещ, сазан, щука. Возле кустарников, у берегов скрывшихся под водой бочажин ставят великое множество двукрылых шахов и однокрылых куликов, горловины затонов и стариц перекрывают сетями.

А у кого нет лодок, те бродят вдоль берегов с закидухой – квадратной сетью на конце длинной оструганной жерди. Всякому своя работа. И редкий прудковский мужик откажет заезжему любителю свежей рыбки из какого-нибудь суходольного Тиханова. «Бери, сколько хочешь. По десятке за кило». – «А дешевле нельзя?» – «Пашано нонче почему? То-то и оно. Дешевле нам нельзя. За счет природы только и выезжаем».

Полая вода была в этом году высокая, под самую ферму подошла, и неподалеку от коровников стоящие хранилища с семенным картофелем потекли. Пришлось срочно перебирать весь картофель. Гузёнков приказал согнать на хранилища все Прудки и сам прикатил на «газике». По домам ходил Пашка Воронин, созывая людей.

Фомич после утренней рыбалки сидел на крыльце и читал газету, когда остановился перед ним Воронин.

– Председатель приказал всем идти на овощехранилище. И тебе тоже идти с семьей... картошку перебирать. Понял? Фомич, не отрываясь от газеты, спросил:

– А кто отвечает за эту семенную картошку? Гузёнков?

– Да, сам председатель. И приказ его.

– Тогда передай ему – пусть вся эта картошка потонет. Я и пальцем не шевельну.

– Я передам. Но смотри, не пришлось бы пожалеть. Мы тебя еще снимем.

– Руки коротки!

– Посмотрим.

Когда Пашка передал Гузёнкову эти слова, председатель так гаркнул возле хранилища, что Фомич на крыльце услышал:

– Выгоню!

Авдотья перепугалась и огородам, потихоньку от Фомича, ушла на овощехранилище. Но Фомич был не из пугливых, к тому же он ждал от своего начальника какой ни на есть похвалы. И она пришла.

Только спала полая вода, как с Раскидухи позвонили в Прудки. За Фомичом сбегал избач Минька Сладенький, малорослый паренек с тяжелой головой, болтающейся на тонкой шее, как колдая на цепи. «Давай к телефону, срочно!» – только и выдохнул он на Фомичовом складе. Фомич взял у Сладенького ключ от избы-читальни, как эстафетную палочку, и побежал через выгон.

– Как там у вас, сухо? – спросил в трубку начальник ГЭС.

– Очень даже, – выпалил, переводя дух, Фомич. – Ребятишки в лапту играют.

– Плоты целы?

– Все цело, до единого бревнышка.

– Завтра пошлем вам трактор, бревна таскать.

– Не надо трактора. Бревна на берегу.

– Как так на берегу? Кто их вытащил?

– Я.

– По щучьему велению, что ли?

– Приезжайте, посмотрите. А только бревна лежат на сухом берегу, – скромно ответил Фомич.

– А подъезд к ним есть?

– Очень даже. У самой фермы лежат.

– А ты нас не разыгрываешь? Смотри! После обеда приедем.

Белый катер начальника летел по реке, как рыбничек, – крылья водяные вразлет, нос поверху. Того и гляди, оторвется от воды и взлетит над берегом. Фомич поджидал его на высоком Кузяковом яру. Он снял кепку и размахивал ею над головой, как пчел отпугивал. Его заметили с реки, катер свернул к берегу и с ходу вылез брюхом на песчаную отмель. Фомич сбежал вниз.

В катере было трое: начальник – щеголевато одетый молодой человек в темных очках, моторист в кожаной куртке и в настоящей морской фуражке с крабом и толстый, с портфелем, завскладом, который сдавал Фомичу лес по накладной.

– Ну, где твои плоты? – спросил начальник, здороваясь.

Фомич провел их до Святого озера, где на зеленой травке лежали все три плота. Дорога и в самом деле проходила мимо бревен всего в каких-нибудь двадцати шагах.

– Смотри-ка, да лучше этого места и желать нельзя! – воскликнул начальник. – Что ж это мы не смекнули? А?

– Это озеро соединяется с рекой только при очень высокой воде, – сказал завскладом. – Откуда знать, что вода будет такой большой?

– А ты как сообразил? – спросил начальник Фомича. – Почему перегнал плоты сюда?

– Буря была. Их там и затормошило.

– Ишь ты! Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но все равно ты молодец. Ты нам больше трех тысяч сэкономил. Мы тебя тоже наградим месячным окладом. Пупынин! Ну-ка, дай портфель!

Толстяк подал начальнику портфель, тот раскрыл его, вынул деньги и отсчитал Фомичу четыреста восемьдесят пять рублей.

– Держи!

Потом любезно взял Фомича под руку.

– А много ты посулил заплатить за перегон плотов?
– Сотню рублей. И от себя литру водки поставил.
– Ах ты, купец Иголкин! – засмеялся начальник. – Спаиваешь рабочий люд? Ладно уж, оплатим тебе и эту литровку. Только впредь у меня смотри, эти купеческие замашки брось. Прокопыч! – обернулся он опять к толстяку с портфелем. – Давай сюда разнарядку!
Тот вынул из портфеля ведомость с гербовой печатью. Начальник вручил ее Фомичу:
– Вот по этой разнарядке будешь выдавать колхозам лес. Кубатуру считать умеешь?
– А чего ж мудреного!
– Ах ты, мудрено-ядрено! Да ты в самом деле молодец. Кто говорил, что он не справится?!
Фомич с вызовом поглядел на толстяка с портфелем.
– Я только в том смысле, что нам кладовщика девать некуда, – пробурчал толстяк.
– А он чем не кладовщик? Значит, будешь у нас теперь за кладовщика, временно. А там посмотрим. По этой накладной и выдавай лес. Под роспись, разумеется. Тут сказано, кому сколько столбов. Кому каких распорок, пасынков. Действуй! – Начальник пожал Фомичу руку и шутливо ткнул в бок: – Успеха тебе, купец Иголкин.

12

Фомич долго изучал ведомость – кому сколько отпустить бревен; на каждый колхоз отвел по тетрадной странице, а потом раз десять замерял каждое бревно – выводил кубатуру. Еще на юридических курсах Фомич познакомился с хитрой наукой гонометрией, как он ее назвал. Всю гонометрию осилить он не успел, но высчитывать кубатуру бревен, определять сено в стогах или солому в скирдах – это он научился. Число бревен в плотах было такое же, как и в ведомости указано, а вот кубатура чуток завышена. Объегорил его толстобрюхий зав ровно на пять кубометров. Но так как колхозам отпускать положено не просто кубометры, а столбы, то есть поштучно, то Фомич не тужил: в таком деле растекутся эти пять кубометров и не заметишь как.

Вот-вот должны подъехать машины из колхозов, и Фомич тогда будет нарасхват, в самый почет войдет. «Федор Фомич, отпусти, пожалуйста!»; «Федор Фомич, попрямее каких нельзя?» – «А кривые куда? – строго скажет Фомич. – Андрюше на костыли, что ли?» Нет, одним почтением Фомича не разжалобишь; в деле он человек серьезный и спуска от него не жди.

В разгар самых деловых мечтаний Фомича неожиданно-негаданно прикатил на «газике» Тимошкин – в белой расшитой рубашке, в белых парусиновых туфлях, в соломенной шляпе – как гусь, важно выхаживал он возле бревен, потом потребовал от Фомича разнарядку. Фомич знал, что Тимошкина повысили, – теперь он стал заместителем Мотякова. Начальство! Фомич вынул из кармана гимнастерки разнарядку и подал. Тимошкин пробежал по ней своими круглыми желтыми глазами и сказал:

– Чудненько! Значит, весь этот лес передай по акту согласно данного документа. Сегодня же.

– Сдать за день! – удивился Фомич. – Здесь более трехсот кубов. За месяц не увезешь.

– Это вас не касается. Вы сдавайте по акту все сразу. Другому человеку. Мы сами найдем охранника за трудовни. Понял? Лес наш.

– Дай сюда! – Фомич выхватил из рук Тимошкина разнарядку, спрятал в карман и зашпилил его булавкой. – Вот когда получите лес от меня под расписку, тогда он будет ваш. А пока лес мой!

– Твой лес? Ишь ты, частный элемент нашелся. Посмотрите на него! – Тимошкин указывал на Фомича коротким толстым пальцем и спрашивал своего шофера: – Видал, чирей какой?

Кто будет деньги за этот лес платить? Мы! – Тимошкин подошел ближе к Фомичу. – А тебе платить не желаем. Понял! Уходи! Сдавай лес общим актом.

– Не сдам!

– То есть как не сдашь? А мы отберем? Колхозы будут приезжать и брать лес по нашему указанию.

– Попробуйте только! У меня вон два ствола... – Фомич кивнул на прислоненное к бревнам ружье. – Кто сунется – уложу на месте.

– А за разбой знаешь что бывает?

– Я охраняю государственное имущество. Кто меня поставил, тот и снимет.

– Так мы же договорились с начальником ГЭС, голова два уха.

– Этого не может быть! – опешил Фомич.

– Пошли к телефону!

Тимошкин покатился вперед, за ним – ружье наперевес – понуро шел Фомич.

– Ты чего мне в спину целишь? – обернулся Тимошкин. – Я тебе кто? Арестованный? Иди рядом! И пушку закинь за спину.

В клубе возле телефонной будки сидели верхом на скамье Пашка Воронин и свистуновский киномеханик и резались в пашки.

– Сидите, сидите! – царственным жестом успокоил их Тимошкин. Впрочем, они и не думали вставать, только посмотрели на него исподлобья.

– Мне позвонить надо, – сказал Тимошкин.

– Звоните, – кивнул на телефон Пашка и снова склонился над доской.

– Почта? Дайте мне Тиханово! Это Тиханово? А? Тимошкин говорит. Соедини-ка меня с гидростанцией. Начальника, да! Прямой проводом, да. Товарищ Кошкин? А! Тимошкин говорит. Мы тут забираем лес. В Прудках, в Прудках. А Кузькин в колхоз пойдет! Ну, как договаривались. Хорошо, передам ему. До свидания! – Тимошкин положил трубку. – Ну вот, начальник не возражает, – сказал он Фомичу и чуть не замурлыкал от удовольствия. – Сдавай по акту лес и топай в колхоз на работу.

При этих словах Пашка и киномеханик вскинули, как по команде, головы и уставились на Тимошкина.

Фомичу показался этот телефонный разговор подозрительным: и то, как больно скоро соединили Тимошкина с Раскидухой, и этот прямой провод... И главное – так просто и нахально выгоняли его, Фомича. А тот приезд начальника что ж тогда значил? Смеются они, что ли, над ним? Да неужели его начальник такой двуличный человек?

– Ну-ка, отойди в сторону! – Фомич оттер Тимошкина и снял трубку: – Свистуново? Нура, это Кузькин говорит. Мне бы вызвать Раскидуху. Начальника.

– Долго ждать придется, дядя Федя, – ответила телефонистка.

– Вот те раз! Только же давали Раскидуху!

– Это не через меня. Может, через Тиханово.

– Давай, как знаешь. Все равно буду ждать.

Фомич припал к трубке и долго слушал монотонный, вялый голос телефонистки: «Алле-у-у! Самодуровка, Самодуровка!

Алле-у-у! Брёхово!.. Алле-у-у!.. Алле-у-у!» И Фомичу чудилось, будто это лепечет на лесной опушке птичка-сплюшка: «Сплю-у-у, сплю-у-у. Брёхово!.. Сплю-у-у, сплю-у-у».

Наконец Брёхово ответило, и телефонистка оживилась:

– Брёхово! Дайте Раскидуху! А? Начальника соедините?..

И вот в трубке послышался знакомый голос начальника ГЭС:

– Слушаю!

– Это Кузькин говорит, из Прудков!

– В чем дело? Колхозы приезжают за лесом?

– Еще нет. Мне передали из райисполкома, будто вы вместе с ними решили меня с работы того... – У Фомича пересохло в горле, он глотнул слюну и наконец произнес: – Снять.

– Со мной говорил вчера Мотяков, – ответил, помолчав, начальник. – Видите ли, товарищ Кузькин, вы, оказывается, колхозник. А нам не разрешается принимать колхозников на работу, да еще без согласия колхоза. Вот Мотяков и жаловался, что я колхозников у него переманиваю.

– Да я же отпущен из колхоза. У меня есть и справка, и паспорт! – крикнул Фомич.

Пашка с киномехаником давно уже отложили свою игру и теперь с напряжением слушали этот разговор.

– Меня же отпустили, понимаете, отпустили! – Фомич изо всех сил дул в трубку.

– Да вы не волнуйтесь, товарищ Кузькин, – ответил наконец далекий начальник. – Я ведь не сказал, что мы вас снимаем. При всех условиях работайте до конца. А там видно будет.

– А сейчас вы тут ни с кем не говорили? – поглядывая на Тимошкина, осторожно как бы спросил Фомич.

– Где это тут? У тебя или у меня?

– По телефону из Тихановского района сейчас никто с вами не говорил?

– Нет. А что?

– Да тут передо мной стоит один тип. – Фомич теперь жег глазами Тимошкина. – Прохвост в соломенной шляпе. А еще руксостав!..

Пашка и киномеханик, начиная понимать, в чем суть дела, выжидательно улыбались и нахально смотрели на Тимошкина. Тот снял шляпу и отер взмокший лоб.

– А что такое? – спрашивал начальник Фомича.

– Говорит, будто вы приказали меня выгнать. А лес по общему акту сдать ему.

– Что за чепуха! Не слушайте вы никого. Работайте, товарищ Кузькин.

– Вы бы с ним поговорили. Он тут вот передо мной стоит. Я ему сейчас трубку передам. – Фомич сунул Тимошкину трубку, но тот шарахнулся от нее, как от горящей головешки, и в дверь.

А вслед ему оглушительно хохотали Пашка с киномехаником.

На другой день с утра понаехали из колхозов и на лошадях, и на машинах, выстроились у фермы табором. Каждый к себе тянет – поскорее бы нагрузиться. Все – Фомич да Фомич! А что Фомич! На четырех ногах, что ли? И так совсем закрутился...

Сначала решил отпустить подводы из дальних колхозов. Уже нагрузились было хохловские, осталось подсчитать кубатуру да подписи поставить, как прибежала плачущая Авдотья. У Фомича сердце так и екнуло:

– Что случилось? Ай с ребятами что?

– Федя, хлеб нам не дают в магазине.

– Как так не дают?

Был вторник – хлебный день, и Фомич не понимал, почему не дают.

– Продавец говорит, район запретил. Сам Мотяков звонил: не давать Кузькину хлеба... – Авдотья утирала слезы концом пестрого платка, повязанного углом. – Чем же мы теперь кормить свою ораву станем? Ой, господи!

– Да не реви ты! Разберемся – уладим.

Фомич сказал хохловским колхозникам, уже нагрузившим подводы:

– Подождите уезжать! Я сейчас обернусь! – И побежал через выгон к магазину.

Возле древней кирпичной кладовой с отъехавшей задней стенкой, из расщелин которой тянулись тонкие кривые березки, толпилось человек пятнадцать – все больше баб да старух, – хлебная очередь. А в полуразваленной кладовой – наследство попа Василия – размещался прудковский магазин.

– Что это еще за новости на старом месте? – спросил Фомич, входя в темное помещение.

– Я не виноватая, – сказала продавщица Шурка Кадыкова. – Гузёнков приезжал... Говорит, райисполком запретил продавать тебе хлеб... Мотяков! Уж не знаю почему.

– А чего ж тут не знать? – Бабка Марфа зло сверкнула глазками из-под рябенького, в горошинку, платка. – Он наш, хлеб-от, колхозный.

– И то правда... Много до него охотников развелось...

– Они ноне не жнут, не сеют... – загалдели в толпе.

– Ваш хлеб в поле остался, – обернулся Фомич к очереди. – А этот вам господь бог посылает, вроде манну небесную.

– Так мы ж отработываем за этот хлеб-от...

– А я что, груши околачиваю? – Фомич махнул рукой. «Да что это я с бабами сцепился?» – подумал.

Он побежал в клуб, попросил соединить его с Мотяковым.

– Чего надо? – недовольно спросил тот, услышав голос Кузькин.

– Почему мне хлеб запретили продавать?

– Этот хлеб для колхозников привозят. А вы не только в колхозе не работаете, но даже помогать отказались.

– Так я же работаю в Раскидухинской ГЭС?!

– Ну и поезжайте на Раскидуху за хлебом. – Мотяков положил трубку.

– Ах ты, сукин сын! Ну погоди. Еще посмотрим, кто в убытке останется.

Фомич дозвонился до начальника ГЭС и доложил ему о хлебном запрете.

– Я не могу лес отпускать, товарищ начальник. Поеду за хлебом в Пугасово.

– Правильно! Не давай им лесу, если они такие мерзавцы. Заворачивай все подводы и машины. И вот что. В Пугасове есть корреспондент областной газеты. Заезжай к нему. Он сидит в редакции «Колхозной жизни». А я позвоню ему, предупрежу. А если что не выйдет, давай ко мне.

На свой лесной склад Фомич возвратился злым и решительным.

– Разгружай подводы! – крикнул он еще издали хохловским колхозникам.

– Да ты что, в себе? Мы еще по-темному выехали из дому, а к ночи еле доберемся назад. И с пустыми руками?!

– А если бы вы встали с пустым брюхом, день проторчали тут и пошли бы спать с пустым брюхом? Это какво?

– А мы тут при чем? – окружили Фомича шоферы и возчики. – Чего ты нам-то войну объявляешь?

– А со мной без объявления начали войну, – сказал Фомич. – Не я начинал, не я и отвечать буду. Езжайте к Мотякову. Раз они так – и мы эдак.

– Ты уж нас-то пожалей. Нагрузились ведь... – упрашивали Фомича хохловские колхозники.

– А меня кто жалеет? У вас дети есть? Вот ужин подойдет, они придут к матери: «Дай хлеба!» А она скажет им: «Ложитесь не евши. Отец хлеба не принес, ему некогда. Он целый день хохловских мужиков жалел». Так, что ли?

Хохловские мужики, ругая и Фомича, и Мотякова, а пуще всего некое мифическое начальство, пошли к своим подводам.

– Ладно уж! – остановил их Фомич. – Давайте накладную, подпишу.

Высокий, сутулый, обросший седой щетиной, как сухостой лишайником, хохловский бригадир протянул Фомичу накладную. Фомич подложил под нее тетрадь и подписал на коленке.

– Спасибо! – Хохловский бригадир спрятал накладную и сказал: – У нас тут есть хлеб, с собой брали. Возьми ребяташкам.

– Да вы что! Вам самим топать до ночи. – Фомич замотал руками и головой. – Я, чай, найду хлеба-то. А вы, ребята, не сердитесь, – сказал он шоферам. – Я, может, обернусь к вечеру. Хотите, ждите.

– Ничего, мы ведь тоже не свое горячее жгем.

Фомич отдал Авдотье ружье.

– Останешься за меня тут.

– А ты куда, Федя? – спросила Авдотья, принимая ружье.

– За кудыкины горы! Правду пойду искать. – Фомич, видя, как вытянулось Авдотьино лицо, все-таки пояснил: – В Пугасово пойду за хлебом.

– Да туда не дойдешь и дотемна! – ахнула Авдотья.

– Авось люди добрые подвезут, – сказал Фомич, поглядывая на столпившихся шоферов.

Наконец один скуластый плотный паренек в военной гимнастерке подошел к Фомичу и взял его за плечо:

– Ладно, отец... Поехали с нами. Под самое Пугасово подбросим. Не сидеть же ребятишкам голодными.

Авдотья вдруг сгребла платок с головы, уткнулась в него и глухо зарыдала; ее острые, худые плечи под выцветшей и застиранной – не то голубой, не то серой – кофтой то поднимались кверху, то опускались.

– Хватит, мать, хватит... При людях-то постыдись! – говорил Фомич, оглаживая ее плечи.

– Я си-ичас, си-ичас, – торопливо, виновато произносила она и снова всхлипывала. – Мне и того еще досаднее, что свои же бабы из очереди выгнали...

Через час Фомич был уже в Пугасове... Первым делом он зашел в хлебный магазин, наложил полмешка хлеба и только после этого разыскал корреспондента.

Его встретил очень моложавый, но уже седой, с высокими залысинами, приветливый, начинающий полнеть мужчина.

– Я уже в курсе, в курсе, – остановил он Фомича, когда тот начал рассказывать. – Я сейчас позвоню Мотякову. Но у меня к вам просьба – помогайте колхозу.

– Я же на работе нахожусь.

– А вы после работы, по вечерам.

– По вечерам я отдыхаю, потому что ночью опять работа – лес охраняю.

– Понятно, понятно... Но все-таки обещайте, что вы будете помогать колхозу. – Корреспондент говорил, улыбаясь, и получалось так, что он и сам будто не верил в эту помощь, а говорил просто для порядка.

«Это у них вроде игры, – подумал Фомич. – Как у солдат: назовешь пароль – проходи, куда хочешь, а не назовешь – не пустят».

– А почему мне никто не приходит помогать? – спросил Фомич. У корреспондента поползли брови кверху, и он как-то обиженно надул губы:

– Станный вопрос! Ведь вы же не колхоз?

– А почему все должны помогать колхозу? Раньше ведь никто мужикам не помогал. А они сеяли, пахали, убирали – все вовремя.

– Вы говорите не на тему, товарищ, как вас, простите? Федькин?

– Нет, Кузькин.

– Ну, так вот, товарищ Кузькин, вы обещаете помогать колхозу или нет? – Корреспондент глядел теперь строго, и на лице его не было и тени давешней улыбки.

«Да от него, как от попа, не отвяжешься, – подумал Фомич. – Кабы чего хуже не было».

– Пока я на работе, никак не могу... Вот опосля – тогда другое дело... Посмотрим то есть. Отчего ж не помочь? – дипломатично ответил Фомич.

– Вот и хорошо! – обрадовался корреспондент. – А теперь выйдите на минуту, я по телефону поговорю.

Фомич вышел из кабинета, а дверь чуток не прикрыл, прислонился к косяку и стал прислушиваться.

– Товарищ Мотяков, запрет снимите... Советую! Да, да. Не то он до самого Лаврухина дойдет. У него дети... Да, да! Сигнал поступил с места. Рабочий класс! Ну, тем не менее... – доносилось из кабинета.

А потом вышел сам корреспондент, пожал Фомичу руку и пожелал счастливого возвращения.

– Поезжайте. Хлеб вам будут давать.

Фомич еще до вечера успел приехать в Тиханово и сразу прошел в кабинет к Мотякову. На этот раз даже сердитая секретарша не задержала его. А Мотяков как стоял у окна, так и не обернулся, будто не Фомич вошел в кабинет, а муха влетела.

– Что ж вы теперь прикажете? Продавать мне хлеб или как? – спросил Фомич от порога.

– Будут вам продавать.

– Выпишите мне бумагу. На слово ноне нельзя верить.

– Тимошкин пришлет. Можете ехать домой.

– А с чем я поеду? Там дети голодные ждут меня.

– Ступайте вниз, в нашем ларьке возьмете буханку.

– Да мне чего с этой буханкой делать? По ломтику разделить? В ленинградскую блокаду и то больше хлеба давали на нос.

– Ну, возьмите, сколько хотите, – процедил Мотяков, но все-таки не обернулся, только руки его назад в кулаки сжались.

– Это коленкор другой. – Фомич даже улыбнулся на прощание. – Спокойной вам ночи...

В райкомовском ларьке стояли три женщины; одна из них – в красной, котелком, шляпе, в зеленой, вязанной из шерсти заграничной кофте – была жена Мотякова. Фомич сразу узнал ее, но не подал вида и, так же как Мотяков на него, так и он, не глядя на жену, сказал Настенке Рощиной, продавщице:

– Ну и начальник у вас, Настенка! Просто гад.

– Какой начальник, дядя Федя? – Она была свистуновской и знала Фомича.

– Да Мотяков! Дай бог ему сто лет жить, а двести на карачках ползать.

– Что такое? – испуганно спросила Настенка, а посетительницы притихли, и только жена Мотякова – Фомич видел краем глаза – сделалась пунцовой, красней своей шляпы.

– Какой гад такие приказы давал, чтобы детей не кормить? А этот паразит приказал моим детям хлеба не давать.

Жена Мотякова вышла, хлопнув дверью, а Настенка замахала на Фомича руками:

– Да ведь это жена Мотякова была, дядя Федя!

– Вот пускай она и доложит своему, какого об нем мнения народ.

– Ты уж молчи, молчи, – сказала Настенка, – не то свяжут с тобой вместе...

– А ты не бойся! Сказано, нам терять нечего.

13

Накануне цветения яблонь, в самую пору посадки картошки, на склад к Фомичу зашел Пашка Воронин – на нем были новые хромовые сапожки и белая рубашка с откладным воротником. Пашка грыз семечки; по растрепанному рыжему чубу, по красному носу и осоловевшим глазам Фомич сразу догадался, что Пашка выпимши. Дело было вечернее, на бревнышках сидели, грелись дед Филат, Васька Котенок, только что пригнавший стадо, да четверо михеевских колхозников, с ночевой приехавших за столбами с дальней заречной стороны. Сидели, трепались, больше все Фомич старался.

Пашка сел на конец бревна и усмехнулся:

– Пришел Фомичу помогать, а то у него от работы, поди, задница заболела.

– И-ех! Вот это дал! – заржал Васька, закидывая голову, как жеребенок.

– А ты, Паша, горло-то вовремя прополоскал, – ответил Фомич. – Мне в помощь собака очень даже нужна. Лес охранять...

Теперь смеялись и михеевские мужики, и даже дед Филат заливался мелким клекочущим смешком.

«Уж коли ты на испыткок пошел, – подумал Фомич, – так давай потягаемся! Посмотрим, кто кого».

– Собака тебе будет мешать, – сказал, кисло улыбаясь, Пашка. – Одному-то дрыхнуть сподручнее.

– Э-э, нет! Я не один... Я здесь в трех лицах: бог отец, бог сын и бог дух святой.

– Это что-то мудрено, – сказал Пашка.

– Почему это? Бог отец – это я сам, бог сын – мой старшой помощник... Весь в меня! А бог дух святой – это моя смекалка, которая всегда верх берет над нечистой силой.

– Над какой это еще нечистой силой? – спросил Пашка.

– А над тобой да над Гузёнковым.

– И-и-е-х! Вот это дает! – запрокидывал свое красное, обветренное лицо Васька.

– Ай да Фоми-ич, крой тебя лаптем! – хватались за животы михеевские колхозники.

– И за что только такому брехуну деньги платят, – зло сказал Пашка.

– И в самом деле! – подхватил Фомич. – Зачем мне деньги? Воды у меня сколько хочешь, рыбы – тоже вон целое озеро! И воздух бесплатный... Да еще бригадир бесплатно развлекать приходит. Отчего и не поразвлечься с начальством? Мне вот вспомнилось, как у нас в колхозе повышали зарплату... – Фомич достал кисет, стал скручивать «козью ножку», вкось поглядывая на Пашку.

Котенок, ожидая новую смешную историю, подался вперед, дед Филат сидел, сторбившись, обхватив колено, и не то беззвучно смеялся, не то так просто разинул рот, а михеевские колхозники с любопытством поглядывали на Пашку. «Ну и как? Терпишь еще?» – словно написано было на их лицах.

– Так вот, значит, собрался на правление весь актив. Встает агроном и говорит: «Товарищи, мы должны повысить зарплату нашему председателю. Все ж таки мы план по хлебо-сдаче перевыполнили. Кто больше всех старался? Он! Мы без председателя, как слепые, и заблудиться могли бы. Он – вожак!» – «Правильно!» – сказал бухгалтер. – Я за то, чтобы надбавить председателю еще одну тыщу рублей. Объявляю голосование: кто против?» Все за. Ладно. Тогда встает председатель и говорит: «Но, товарищи, я же не один старался. В первую очередь и агронома надо отметить. Он за полями присматривал. Кабы не агроном, поля травой позарастили бы. Предлагаю повысить ему оклад на пятьсот рублей. Согласны? Голосуем. Кто против? Никто... Хорошо!» – «Но, товарищи, – поднялся бухгалтер. – Мы ведь выполнили план и по сдаче молока. Надо повысить оклад и зоотехнику. Кабы не он, коровы недоеными ходили бы». Хорошо! Повысили и зоотехнику. «А бухгалтеру?» – встает зоотехник. – Он весь расчет у нас ведет... Дебет-скребет. А кто нам зарплату выдает? Опять же он. Кабы не он, мы и денег не имели бы. Надо и бухгалтеру повысить». Ладно, и бухгалтеру повысили. «А бригадиру?» – сказал агроном. – Кто на работу колхозников организует? Бригадир. Если не он, и работать никто не станет. Повысить надо и бригадиру...» Хорошо, повысили. «Товарищи, нельзя обижать и моего шофера, – сказал председатель. – Если он будет плохо меня возить, мы плана не выполним. Надо повысить и ему». Повысили. «А мне?» – сказал животновод. – Я на случном пункте стою. Если б не моя работа, и телят не было бы. А откуда молоко тогда взялось бы?» – «И правильно, – сказали все. – Как же мы животновода позабыли? И ему надо повысить оклад». – «А мне?» – спросила Матрена. «А тебе за что?» – «Как за что? Я работаю, навоз вывожу». – «Ну и работай. Вывози не три воза, а двадцать возов на день. Вот и получишь пуд хлеба да десять

рублей. Больше всех... Какой же тебе еще оклад нужен?» Ладно, пошла Матрена навоз возить. Отвезла воз, другой... На третьем возу лошадь стала. «Но!» Стоит. «Но!» Ни с места. Она взяла шелугу да хлясть ей по боку! Лошадь на другой бок упала. Вот и навозилась. Пошла на конный двор: «Запрягите мне вон ту, крепкую лошадь». – «Эту нельзя, – отвечает ей конюх. – На ней Пашка-бригадир ездит». Подходит весна, а навоз не вывезен. «Опять всю зиму дурака валяли! – ругается председатель. – Ну ж, я вас проучу!» Вызывает он бульдозер из метэс... Тот выволок весь навоз с фермы и деньги Матренины все забрал. «Вон куда ваша зарплата ушла, – сказал председатель Матрене. – Работать надо было лучше». Напилась Матрена с горя самогонки... Утром на работу итить – она с печки не слезет... Но тут приходит за ней бригадир...

– Довольно! – крикнул Пашка и встал. – Не твои поганые речи антиколхозные слушать, я пришел сказать... передать приказ председателя – завтра на твоём огороде колхоз посеет просо!

– Как это так? – встал и Фомич. – Я на своём огороде пока ещё хозяин.

– Был! А в прошлом году тебя исключили на собрании и усадьбы лишили. Вот об этом я тебя и предупреждаю. Это решение правления колхоза, понял? Огород больше не твой... Вот так! – Пашка под конец рассмеялся в лицо Фомичу: – Ну, что ж ты не веселишься? Развлекай теперь своих приятелей...

И пошел прочь.

– Вот так сказка с присказкой! – сказал Фомич, почесывая затылок. – Что ж мне теперь делать? Как думаешь, дядь Филат, отберут они огород?

– Они все могут. Вот у Митьки Губанова отобрали...

Губанов работал бакенщиком, огород у него отрезали под самое крыльцо, так он потихоньку на Луневском острове вспахал. Но Луневский остров принадлежал пароходству... Кто туда пустит Фомича?

– Ведь я ж теперь рабочий класс. Мне пятнадцать сотых положено. А уж закон я найду. До суда дойду...

– Э-э, Федька! Пока суд да дело, а они возьмут на твоём огороде и просо посеют, – сказал дед Филат. – Вот кабы ты раньше их картошку посадил, тады другой оборот.

– А на ком пахать? На бабе, что ли? К ним теперь за лошадьё и не подступись.

Молчавшие до сих пор михеевские переглянулись, и ветхий, почти как дед Филат, старичок в черном мелескиновом пиджачке, из-под которого на ладонь выползал подол серой застиранной рубахи, сказал Фомичу:

– На ком пахать! О голубь! Вон четыре лошади. За ночь вспашем и посадим... только соху тащи.

– А что, Федька! – подхватил дед Филат. – Бери у меня соху и валяй. Подфасонишь им в самый раз.

– У нее, поди, и сошники отопрели, – сказал Фомич.

– Шшанок! А я на чем сажаю? – вскинул бороденку дед Филат.

Соху и в самом деле оказалась крепкой. «И что за дед такой припасливый? – удивился «Фомич, оглядывая Филатове хозяйство. – Еле ноги, кажись, волочит, а двор покрыт, изба проконопачена... И даже курушка в сенях квохчет».

Вместе с михеевским стариком Фомич притащил к себе в огород соху, впрягли в нее лошадь... И пошла работа. Пахали впересменку – одна лошадь устанет, вторую перепрягли. А потом выползла вся Фомичева ребятня с хозяйкой во главе, и к одиннадцати часам ночи – уже по-темному – посадили всю картошку.

– Вот это по-стахановски, – сказал Фомич, вытирая подолом рубахи пот с лица. – Что значит работа на общественных началах. Пошли отдыхать.

Авдотья сходила к соседке, матери Андриюши, принесла две бутылки самогонки; поставили чугун картошки на стол, михеевские свиного сала нарежали. И сразу повеселело на душе.

Фомич сначала плеснул чуток самогонки на блюдце и поджег – высокое синеватое пламя заметалось над блюдцем.

– Горит, как карасин! – торжественно произнес Фомич. – Тут на совесть сработано.

Михеевский старик понюхал из горлышка.

– Да она вроде бы и пахнет карасином.

– Ты что! Самогонка сахарная. Андрюша из района привозит сахар.

Свесив с печки голову, поглядывая на мигающее синеватое пламя на блюдце, самый младший – Санька – вдруг запел частушку:

Нынче сахару не стало – самогоночку варим;
Из кила кило выходит, вся до капельки горит

Михеевские засмеялись. Старичок отрезал ломтик пресной пышки, положил на нее кусочек сала и подал на печь:

– Ешь, внучек, ешь.

– Ма-ам, дай и нам! – С печи сразу свесилось еще три головы.

– Вот я вас сейчас мутовкой по лбу! – крикнула Авдотья от стола.

Но ласковый старичок разрезал всю пышку и подал ребятам:

– Ешьте, ешьте... Мы едим, а они что? Ай нелюди? В Писании сказано: дети – цветы нашей жизни.

– Нет уж, по такой жизни и дети не в радость, – вздохнула Авдотья, протирая стаканы. – Хоть бы и не было их вовсе.

– Ну не скажите, – возразил старичок. – Какая бы ни была жизнь, а пройдет – и плохая, и хорошая. Главное – что человек по себе оставит... Ибо сказано в Писании: негоже человеку быть единому. Не то помрешь – и помянуть некому будет.

– Ноне и поминать-то негде. Церкву развалили, и бог, знать, улетел от нас, – сказала Авдотья.

– Ну не говорите! Бог в нас самих, – поднял палец старичок. – Ибо сказано: бог – наше терпенье.

– Оно ведь, терпенье-то, больно разное, – сказал Фомич, наливая самогонку в стаканы. – И кошка на печи терпит, и собака под забором тоже терпит. Ежели бог – терпение, так почему он такой неодинаковый?

– Это уж кому что предназначено, – важно заметил старичок. – У каждой божьей твари свои радости есть. Так и человек; писано – не завидуй! Ищи в себе остов радости и блаженства.

– А мы уж и так дожили – что на нас, то и при нас... Ищи не ищи... Кто нам в чем поможет? – сказала свое Авдотья.

– Ты, мать, не туда поехала. Это он про меня сказал: ежели человек веру в себя потерял, ему и бог не поможет. Так я вас понимаю? – спросил Фомич старичка.

– Истинная правда! Потому как в Писании сказано: самый большой грех – уныние.

– Будет уж проповедовать... отец Сергей, – сказал с легкой заминкой один из михеевцев – Иван Павлович, как звали его.

Он был примерно годком Фомичу, такой же чернявый, сухой, с морщинистой шеей.

– Есть хочется! Да и выпить не грех. – Иван Павлович кивнул на самогонку. – Небось выдохнется.

Остальные михеевцы были совсем еще молоденькими пареньками, – видать, и в армии еще не служили.

– Ну, поехали! – Фомич поднял стакан.

Чокнулись. Пили медленно, тянули сквозь губы, будто не самогонку пили, а закваску, кривились так, что глаза в морщинах скрывались: наконец, выпив, шумно выдыхали воздух и нюхали хлеб.

– Кряпка!

– Да, кряпка-а...

– Господь помилуй!

– Ты что ж, попом работаешь, что ли? – спросил Фомич старика.

– Священником, – кивнул сухонькой головой отец Сергей.

– А что ж у тебя волоса-то не длинные? Волосы у отца Сергея были не то седые, не то белесые – реденькие и короткие.

– Так он еще у нас молодой поп-то, – сказал Иван Павлович. – Недавний.

– Поп – и за бревнами приехал... Этого я чегой-то не понимаю, – сказал Фомич.

– Он вроде бы еще неутвержденный, – сказал Иван Павлович. – Настоящий поп озоровать стал. Будто в алтаре напился допьяна. Старухи взбунтовались и прогнали его. А наш отец Сергей плотником работал. Да псаломщиком был. Вот его и попросили, призвали, значит, миром. Служит... А председатель его от работы в колхозе не освобождает. Ты, мол, еще не настоящий поп...

– Это ему нагрузка, – сказал осмелевший после выпивки один из парней и прыснул. – Вроде художественной самодеятельности.

– Васька! – цыкнул на него Иван Павлович.

А отец Сергей смиренно заметил:

– Трудимся поелико возможно...

После второго стакана Фомич снял балалайку. Гармошки-то давно уж не было. Авдотья продала ее, когда Фомич еще в тюрьме сидел, – две посылки ему справила на гармонь-то.

Фомич ударил по струнам и подмигнул Авдотье:

– Ну-ка, Дуня, где наши семнадцать лет?

Раскрасневшаяся, помолодевшая Авдотья подбоченилась, повела плечами и голосисто запела:

Сыграй, Федя, сыграй, милый,
Страданыице с переливом!

И Фомич тотчас же ответил ей припевкой:

Вспомни, Милка, вспомни, стерва,
Как гуляли с тобой сперва!

Михеевские дружно засмеялись, и Иван Павлович выкрикнул:

– Ну-ка, давай камаринскую!

Фомич быстро переладил струны на новый строй, заскользил пальцами по грифу, и одна струна стала тоненько и жалобно выводить прерывистую, словно спотыкающуюся мелодию.

– Хорошо начал! Издаля... – сказал Иван Павлович.

Он вышел на середину избы, поднял кверху палец, стал отщелкивать пальцем такт и притопывать ногой.

– А теперь чуть живее! – И запел жидким, но приятным баритончиком: – А-а-ах ты су-у-укин сын камааринский мужик... Живее! – опять крикнул Иван Павлович, быстро согнулся, прихлопывая себя по коленкам и стуча ногами.

– И-эх-ма! – Фомич ударил по струнам еще звонче, смешно задергался, затряс головой, торопливо приговаривая:

У-он по улице по нашенской бежит,
Ды-он бежит-бежит-навертывает,
Его судорогой подергивает...

Фомич еще более зачастил и перешел на «барыню».

– Упы-уп, упы-уп! – покрикивал Иван Павлович, подпрыгивая и шлепая ладонями по голяшкам сапог, потом присел и легко, поскаком, пошел по избе, пронзительно посвистывая.

– Ах, тух тях-тую, да самовар в дыгтю, – припевая, ерзал на скамье Фомич, сам готовый сорваться в пляс.

– У-у-ф ты! – выпрямившись, сказал Иван Павлович, судорожно глотая воздух, и тяжело плюхнулся на скамью.

– От так! Знай наших!..

– Ай да Павлыч, ай да верток! – говорила Авдотья. – Вы с моим-то два сапога пара.

А потом хором тихонько с подголоском пели:

За высокой тюремной стеною
Молодой арестант помирал...
Он, склонившись на грудь головою,
Потихоньку молитву читал...

Отец Сергей выводил тоненьким дрожащим тенорком, запрокидывая голову, и в его светлых, как бусинки, глазках стояли слезы...

14

На другой день Пашка Воронин доложил председателю:

– Кузькин самовольно посадил картошку на огороде.

– А кто пахал ему?

– Чужих нанимал. Говорят, обманом подпоил.

– Ну, теперь он у меня будет землю кушать. Я научу его, как советские законы уважать, – сказал Гузёнков.

Он тут же позвонил Мотякову, расписал, как Федор Кузькин захватил самовольно землю под огород и посадил картошку. «И гулянку по такому случаю устроил». Мотяков приказал составить акт, вызвать агента из управления сельского хозяйства и заготовок, подписать и направить акт в прокуратуру.

– Судить будем! Показательным судом. Отобьем охоту бегать из колхоза. Враз и навсегда!

А еще через день из прокуратуры пришла повестка – рассылный из сельсовета принес и выдал Живому под расписку. В ней тот приглашался в вежливой форме прибыть в тихоновскую прокуратуру, а в случае неявки, сообщалось, «вышепоименованный гражданин будет доставлен органами милиции».

«Вышепоименованный гражданин», разумеется, явился сам. Сначала он зашел в рик, к председателю. Но Мотяков отказался принять его, послал к Тимошкину.

– А-а, товарищ Кузькин! Привет, привет. Чем могу помочь? – Тимошкин сидел за столом добродушный, приветливый, и его круглые желтые глаза сияли, как надраенные медные пуговицы.

– Не за помощью к вам пришел, – хмуро сказал Фомич. – Очень интересно знать: законы соблюдаются в нашей стране ай нет?

– В нашей стране, товарищ Кузькин, законы написаны для трудового народа, а не для тунеядцев. А тех, кто нарушает законы, призывает к порядку советская прокуратура.

– Это мне очень даже понятно. Только поясните мне – по какому такому закону у рабочего отбирают огород?

– У какого это рабочего?

– У меня, к примеру.

– Вот это ловко повернул! Видали, какой элемент нашелся? – Тимошкин как бы обращался к кому-то третьему за поддержкой, хотя в кабинете, кроме их двоих, никого не было. – Вам огород, как рабочему, никто, товарищ Кузькин, не давал. Поэтому отбирать его у вас никак не возможно. Все обстоит по-другому: это вы самовольно захватили колхозную землю под огород. За что и привлекаетесь к уголовной ответственности.

– Да мне ж положено, как рабочему, иметь пятнадцать соток. А в моем огороде всего четырнадцать. Чего ж вам еще?

– А то, товарищ Кузькин, что в Прудках у нас государственной земли нет. Там вся земля колхозная. И дать вам земли под огород в Прудках мы никак не можем.

– Это как вас можно понимать? – Фомич обалдело смотрел на Тимошкина.

– У нас такая земля есть, только под Гордеевом. Там можем дать вам огород. Хотите – берите.

– Вы что, издеваетесь? – Фомич даже встал от негодования. – Гордеево от Прудков за двадцать пять километров! Я что ж, летать на огород должен?

– Не хотите – не берите. – Тимошкин был невозмутим. – А в Прудках огород сдайте.

– Огород мой! И никому я его не отдам. – Фомич пошел к дверям.

– Отберем судом. А тебя посадим, – сказал вслед ему, не повышая голоса, Тимошкин.

В прокуратуре встретил Фомича младший юрист Фатеев – в белом кителе, в погонах со звездочкой, черные волосы приглажены, расчесаны на пробор да еще блестят – одеклоном обрызгнуты. Он пробежал глазами повестку и сказал весело:

– Вас-то я и жду! Проходите в кабинет!

Младший юрист провел Фомича в кабинет с надписью на белой двери «Следователь», усадил на диван, сам сел напротив за стол и все глядел на него, улыбаясь, будто желаннее гостя, чем Фомич, для этого следователя теперь и не было никого на всем белом свете.

«Прямо как на блины пригласил, – думал Фомич, глядя на свежее, смеющееся лицо следователя. – Чем он только угостит меня? Вот вопрос...»

Младший юрист считал себя человеком воспитанным; он долго служил в политотделе МТС, а теперь учился в областном пединституте на заочном отделении. Несмотря на свои сорок лет, он все еще был худощав, подтянут, играл на аккордеоне и пел частушки собственного сочинения на смотрах художественной самодеятельности. Один раз даже в области сыграл. Он полагал, что главное для юриста – это соблюдать вежливость.

– Смелый вы человек, товарищ Кузькин, – говорил, все ярче улыбаясь, младший юрист. – Я просто восхищаюсь вами.

– А чего мной восхищаться? Одет я вроде бы нормально, а не какой-нибудь ряженный. – Фомич посмотрел на свой рябенький, сильно мятый пиджачок, на черную косоворотку. – Чего тут смешного?

– Да нет, вы меня не так поняли! – воскликнул Фатеев. – Я не смеюсь над вами... Просто я хотел сказать, как же это вы набрались смелости захватить колхозную землю? Против коллектива пошли... Один против всего села! Вот что.

– Да что я, на кулачки против села пошел, что ли? И ничего я не захватывал. Огород мой.

– Огород колхозный... но вы его захватили и теперь считаете своим, – радостно подсказал младший юрист.

– Как так захватил? Еще дед мой пахал его. Мать с отцом сад рассадили. Я уж порубил яблони. Распахал его сразу после войны... под картошку.

– Интересное у вас мнение! Значит, вы считаете, что земля у нас по наследству передается? А революция была в нашей стране?

– Была.

– Вот именно, товарищ Кузькин. Революция уничтожила в нашей стране право собственности на землю. И вы это отлично понимаете, только уклоняетесь от ответственности некоей игрой. Не выйдет, товарищ Кузькин! Я сам люблю играть, только в свободное от работы время.

– Так в чем же вы меня обвиняете?

– Вы обвиняетесь в самовольном захвате колхозной земли. Колхозное собрание лишило вас права пользоваться огородом... Когда исключали из колхоза. Это вам известно?

– Нет. Я не был на колхозном собрании.

– А чем вы можете подтвердить это показание?

– Дак что ж, на собрании колхозном зарубки, что ли, каждый оставляет на стене? Кабы зарубки оставляли, я сказал бы – моей там нет.

– Но есть свидетельские показания, что вы там были. Вам известны такие граждане? – Фатеев вынул из папки бумажку и прочел: – Назаркин Матвей Корнеевич, счетовод колхоза, заместитель председателя Степушкин, бригадир Воронин – все они показывают, что вы присутствовали на собрании.

– Ну, ежели они показывают, пускай они и отвечают.

– Интересно рассуждаете, товарищ Кузькин! Значит, не вы виноваты в самовольном захвате колхозной земли, а колхозное руководство?

– А если они врут, тогда как?

– А бригадир Воронин предупреждал вас? – быстро спросил Фатеев.

– У бригадира нет такого права, чтоб огород у меня отбирать, – ответил, помедлив, Фомич.

– То-то и оно. Кто врёт – выяснит народный суд. У нас все по науке. Вы еще вот на какой вопрос ответьте: откуда вы взяли лошадь для посадки картошки?

– Приехали за столбами люди добрые да помогли мне – вспахали огород.

– А вы предупреждали, что огород самовольно вами захвачен? Из какого они колхоза?

Фомичу вдруг стало тоскливо до тошноты, он молчал и устало смотрел мимо следователя в окно; полотняные шторы слегка шевелил врывающийся в открытую форточку ветерок, за шторкой на подоконнике стояли в горшочках, обернутые белой бумагой, ярко-красные цветы-сережки.

«Интересно, кто их поливает? Поди, сам этот чистоплюй?» – некстати подумал Фомич.

– Вы понимаете, что сделали этих людей соучастниками вашего преступления? – доносился откуда-то сбоку голос следователя. – Или вы попросту обманули их? Из какого они колхоза?

«Интересно, кто меня судить будет? Старый судья или молодой?» – думал свое Фомич.

– Товарищ Кузькин, вы меня слышите?

– Я сам не знаю, из какого они колхоза. Не спрашивал, – встряхнулся наконец Фомич.

– В таком случае вина ваша усугубляется. Посидите! Следователь вынул из зеленого пластмассового футляра очки и долго писал, мучительно сводя на переносице черные брови. Потом неожиданно спросил:

– Как ваша фамилия?

– Дак вы же знаете.

– Пожалуйста, отвечайте на вопросы!

И Фомич отвечал: как его фамилия, имя, отчество, и какого года рождения, и в каком селе проживает... Наконец следователь бросил свое: «Посидите!» – закрыл ящик стола и вышел с двумя исписанными листками.

Затем через дощатую перегородку отчетливо донесся его голос: «Обвинительное заключение». Фомич вздрогнул и стал прислушиваться. Следователь читал монотонно, повторяя особо важные обороты. За ним, захлебываясь от поспешности, стучала машинка: «...по делу обвинения Кузькина Федора Фомича по ст. 90 УК РСФСР...»

Далее следователь диктовал, кто такой он, Кузькин, и где живет, и кем был. Фомич эту часть плохо слушал и все думал: «Кто меня будет судить, молодой судья или старый?»

«...Игнорируя установленный порядок получения в пользование земли, считая приусадебный участок своей вотчиной, – читал следователь, – Кузькин вышеозначенную площадь земли захватил самовольно. Кроме того, без разрешения руководства колхоза Кузькин обманом достал лошадь из колхоза для вспашки огорода, не выдавая имен своих сообщников...»

«Ежели старый судья Карпушкин возьмет меня в оборот, тогда беда, – думал Фомич. – Ему что конь, что кобыла: команда была – значит, садись. А ежели молодой судить станет, может, и оклемаюсь. Этот совсем недавно из школы. У него, поди, закон еще из головы не выветрился...»

«...Привлеченный следствием в качестве обвиняемого по настоящему делу Кузькин виновным в предъявленном ему обвинении себя не признал и ничего существенного в свое оправдание не показал. Его утверждение о том, что ему не было известно о решении общего собрания колхозников, не нашло своего подтверждения по материалам дела...»

Фатеев вернулся все таким же приветливым, улыбающимся, как будто бы они сейчас, после подписания этих бумажек, пойдут вместе с Фомичом в чайную выпить.

Фомич внимательно читал и протокол допроса, и обвинительное заключение.

«...На основании ст. 21 Закона о судостроительстве СССР данное дело подлежит рассмотрению в нарсуде Тихановского района».

Затем шла подпись: «И.о. прокурора младший юрист А. Фатеев».

– Судить вас будут прямо в Прудках. Выездной сессией, – любезно сообщил Фатеев.

– Вот хорошо! – усмехнулся Фомич. – Все лишний раз ходить не надо. Спасибо хоть в этом уважили.

– Да я еще не знаю, как мне с вами быть. Отпускать ли до суда или взять под стражу? – Младший юрист озабоченно смотрел на Фомича.

– Куда ни сажайте, а все равно с вашим делом выйдет пятнадцатикопеечная панихида.

– Это что еще за панихида?

– Присказка есть такая. Перепил поп. Наутро головы не поднять, а тут старуха пришла: «Батюшка, отслужи панихиду!» – «Панихида бывает разная, – отвечает ей с печки поп. – И за пять рублей, и за рупь, и за пятнадцать копеек. Да хрен ли в ней толку!»

– Туманно...

– На суде прояснится... Ну, так мне итить или вы меня проводите?

– Ладно уж, выберем простую меру пресечения. Вот, подпишите подписку о невыезде. – Фатеев подал бумажку.

Фомич прочитал, что девятого июня состоится суд над ним и до этого момента он никуда не выедет с места жительства. Потом расписался.

– А кто судить меня станет? Карпушкин?

– Не знаю. – Фатеев взял подписку. – Можете быть свободны в означенных пределах.

Суд над Живым состоялся вечером, чтобы колхозников с работы не отрывать. На маленькой клубной сцене поставили столы, накрытые красным полотном, а чуть сбоку, возле сцены, – скамью для подсудимого. Фомич посадил на нее свою ребятню, а по краям сел сам с Авдо-

тей. Бойкие, смышленные ребяташки с серыми, глубоко посаженными глазами весело болтали ногами и с интересом разглядывали судей за красным столом.

– А вы зачем детей привели? – спросил Живого судья, молоденький белокрысый паренек в клетчатом пиджаке и узеньком галстуке. – Мы не детей твоих судить собрались, а тебя.

– Дети больше моего по колхозной земле бегают, – сказал Фомич, – значит, они больше и виноватые. Пусть смолоду привыкают к законам.

Фомич надел старую, замызганную гимнастерку и нацепил на нее орден Славы и две медали. Медали он натер золой, и они теперь горели, как золотые.

Авдотья сидела прямо, как аршин проглотила, тяжело опустив на колени свои толстые, узловатые, искривленные пальцы.

– А что у вас с руками... – Судья запнулся, не смог произнести привычное слово «подсудимая» и после паузы сказал: – Хозяйка?

– Коров доила... Знать, застудила или так что, – ответила, краснея, Авдотья.

– Она что, дояркой у вас работала? – спросил судья, обращаясь к председателю, сидевшему в первом ряду.

– Не знаю, – ответил Гузёнков.

– Три года назад, – пояснил Фомич.

– Ясно!

Судья встал и огласил состав суда. Со сцены откуда-то вынырнул милиционер и встал за скамьей Фомича.

– Отвода к составу суда не имеется у вас, подсудимый? – спросил судья.

– Нет, – ответил Живой.

Из народных заседателей были старый учитель-химик из свистуновской семилетки по прозвищу Ашдваэс да заведующая районной чайной Степанида Силкина, пожилая, но все еще мощная чернокося красавица, постоянный член президиума всех районных заседаний.

Обвинительное заключение читал и. о. прокурора младший юрист Фатеев. На нем был белоснежный китель, погоны и темно-синие с зеленым кантом брюки. Читал он, как и полагалось, с трибуны, установленной напротив скамьи подсудимого. Трибуну по такому случаю привезли из свистуновского клуба и обшили ее тоже красной материей.

Читал Фатеев с выражением или, как говорят в Прудках, с нажимом, и когда упоминал статьи Уголовного кодекса, то приостанавливался и смотрел в многолюдный зал. В это время становилось особенно тихо. По его словам получалось так, что Кузькин хоть и числился раньше колхозником, но склонность к туеядству не давала ему «возможности полноценно трудиться на благо нашей Родины». И что теперь он попросту стал антиобщественным элементом, поскольку объявил себя рабочим, а постоянно нигде не работает. И в связи с этим дошел до самовольного захвата колхозной земли и обмана руководства.

– Я требую, – сказал Фатеев в заключение, – изолировать Кузькина от общества как разлагающийся элемент и за совершенное преступление, выразившееся в самовольном захвате колхозной земли, вынести Кузькину строгое наказание – год исправительно-трудовых работ с отбыванием в местах заключения.

В первом ряду захлопали, но особенной поддержки в зале не было, и эти жидкие хлопки вскоре затихли, потонули в дружном кашле, шарканье, шушуканье. Гром грянул, и теперь зал оживленно загудел.

Судья сказал:

– В связи с тем, что подсудимый от защитника отказался и решил вести защиту сам, предоставляется ему слово.

Фомич встал, посмотрел было на трибуну, но ему никто не предложил пройти и встать за нее; он потоптался нерешительно на месте, не зная, на кого же ему смотреть – в зал или

на судью, к кому обращаться с речью-то. Так и не решив этого сложного вопроса, он встал вполоборота, так что справа от него был судья, а слева – зал.

– Товарищи граждане! В нашей Советской Конституции записано: владеть землей имеем право, но паразиты никогда. И в песне, в «Интернационале», об этом поется. Спрашивается: кто я такой? Здесь выступал прокурор и назвал меня тунеядцем, вроде паразита, значит. Я землю пахал, советскую власть строил, воевал на фронте. – Фомич как бы нечаянно провел култей по медалям, и они глухо звякнули. – Инвалидом остался... Всю жизнь на своих галчат спину гну, кормлю их. Как бы там ни шло, а побираться они не ходят по дворам. Так? – спрашивал он, повернувшись к залу.

– Так. А то что же?

– Ноне не больно подадут.

– Это не прежние времена... – неожиданно загалдели в зале.

– Выходит, я не паразит-тунеядец? – спросил опять Фомич.

– Нищих ноне нет! – выкрикнул женский голос. – Чего зря молоть? В зале засмеялись, зашикали. Судья позвонил колокольчиком.

– Гражданин Кузькин! Подсудимому не разрешается обращаться с вопросами в зал.

– А мне больше и спрашивать нечего. Люди сказали, кто я такой. Теперь – судите. – Фомич сел.

– Подсудимый Кузькин, вам известно было решение общего колхозного собрания, на котором вас лишили права пользоваться огородом? – спросил судья.

– Нет, товарищ судья.

– Отвечайте: гражданин судья.

– Пусть гражданин... Какая разница, – согласился Фомич.

– Вы были на том общем собрании?

– Не был.

– Садитесь!.. Свидетель Назаркин Матвей Корнеевич!

– Я, гражданин судья! – вскочил из первого ряда Корнейч и вытянул по швам свои огромные кулачищи.

– Надо говорить: товарищ судья.

– Слушаюсь!

– Вы показали, что Кузькин присутствовал на том собрании?

– Так точно! – живо подтвердил Корнейч.

– Слушай, Корнейч! Ты чего это на себя наговариваешь? – набросился на него Фомич. – Ты знаешь, что бывает за ложное показание? Гражданин судья, предупредите его, что за ложное показание два года тюрьмы дают по статье. Я тебя посажу на эту самую скамью! – Фомич указал на свое место.

– Да, за ложное показание дается два года заключения, – строго сказал судья. – Свидетель Назаркин, я предупреждаю вас.

Корнейч часто заморгал глазами и переступил с ноги на ногу, как притомившаяся лошадь.

– Повторяю вопрос... Свидетель Назаркин, был обвиняемый Кузькин на общем колхозном собрании двадцатого сентября прошлого года?

– Да вроде был... – Корнейч виновато поглядел в сторону председателя, но тут же вскинул голову к судье.

– А точнее?

Корнейч покрутил головой, точно хотел вылезти из широкого ворота темной толстовки...

– Да я уж не помню, – наконец произнес он, глядя себе под ноги.

Гузёнков выдавил какой-то рычащий звук и сердито посмотрел на Корнейча.

– Садитесь! – сказал судья. – Свидетель Степушкин!

Поднялся с первой скамьи заместитель Гузёнка, седовласый, с бурой, изрытой глубокими морщинами шеей, свистуновский колхозник, вечный заместитель председателя.

– Вы подтверждаете, что Кузькин был на общем колхозном собрании двадцатого сентября?

Степушкин глядел куда-то в потолок, на лбу его появились такие же бурые, как на шее, борозды.

– Кажется, был, – произнес наконец Степушкин.

– Был или нет?

– Да вроде бы...

– Вы что, в прятки с судом играть решили? – Судья повысил голос.

– Не помню. – Степушкин сел.

– Кто извещал Кузькина о решении собрания? – спросил судья, глядя на председателя.

Гузёнков ответил, не вставая:

– Бригадир передавал мой приказ.

Встал Пашка Воронин.

– Да, я предупредил Кузькина. Он сидел на лесном складе, как раз под вечер. Я подошел к нему, посидел еще рядом. Потом сказал, чтобы он не сажал картошку на огороде, потому что огород не его, а колхозный.

– Подсудимый Кузькин, было такое предупреждение?

– В точности было! – сказал Фомич.

– Чего ж еще надо? – крикнул Гузёнков.

– Но, гражданин судья, дозвоьте слово сказать? – обратился к судье Фомич.

– Пожалуйста.

– Воронин почти каждый день меня страдал: то говорил, что меня вышлют. Потом грозился посадить в тюрьму. А потом огород отобрать. Мало ли чего он говорил. Я уж и верить перестал. А ведь решение общего собрания – это же закон. Так я понимаю, гражданин судья?

– Правильно!

– Значит, законное постановление и передавать надо под расписку, документом. Выписать это решение на бумаге, прислать мне. Я бы прочел, расписался. Закон!

– Правильно! Под расписку не вручалось решение собрания Кузькину? – спросил судья Гузёнка.

– Нет, – ответил, краснея, Гузёнков.

Теперь все смотрели на него. А Фомич еще и добавил:

– А стращать словами-то у нас мастера...

Когда суд удалился на совещание, Гузёнков встал и, тяжело грохая сапогами, ушел из клуба. За ним подался и Пашка Воронин. А Корнеич и Степушкин понуро сидели на опустевшей скамье, боясь оглянуться в зал. Там шумно гомонили, отпуская крепкие шутки в адрес незадачливых свидетелей. Всем было ясно, что Фомич выиграл дело. И когда судья зачитал оправдательный приговор, кто-то крикнул на весь зал:

– Он из воды сухим выйдет! Живой – он и есть живой...

15

В конце июня, только лишь успели колхозы развезти лес от Фомича, как позвонил начальник электростанции:

– Кузькин, не спишь там?

– Гуси не дают. Развели их ноне, как саранчу. Мясопоставки отменили. Вот они и орут от радости на все Прудки.

– Ну, я тебе тихую работу нашел, подальше от гусей. Пойдешь на пристань?

– Это на какую такую пристань?
– На Прокоше поставят, недалеко от Прудков.
– А что мне там делать?
– Всё! И командовать, и подметать. И шкипер, и подчищала. В одном лице будешь. Совместишь?

– Можно попробовать.
– Тогда завтра же давай на речной участок. Он тут, возле нас.

Пугасовский участок пароходства малых рек стоял возле Раскидухи, сразу за шлюзом, где перегороженная Прокоша разливалась на полкилометра, что Ока. Весь участок состоял из двух бревенчатых амбаров, отведенных под склады, пятистенной избы, в которой размещались магазин и буфет, и двух дебаркадеров. К одному дебаркадеру приставали речные катера-трамвайчики, а во втором располагалась контора участка.

Начальник участка, черноволосый приземистый чуваш с необычным для здешних мест именем – Садок Парфентьевич, встретил Фомича по-деловому:

– Работа хорошая, но денег мало, учты! Всего четыреста восемьдесят пять рублей.
– А мне больше и не надо, – сказал Фомич.
– Платим только до декабря. Зимой денег не даем. Учты!
– А я корзины буду плести.
– Делай, что хочешь. Зимой ты меня не касайся.
– Перезимую! – весело сказал Фомич.
– Устройство дебаркадера знаешь?
– А как же! Значит, внизу трюм, а поверху палуба. На ней устроены...
– Хватит! – остановил его Садок Парфентьевич. – Если тонуть станет дебаркадер, что будешь делать?

– Первым делом в трюм посмотреть. Ежели там вода, значит, откачать надо.
– На мель надо сажать. Учты!
– Это уж само собой, – быстро согласился Фомич. – Мы раньше в Прудках сами баржи делали. Значит, ребра ставили, по ним обшивка. Вот тебе и трюм...
– Хорошо! Завтра поезжай в Тютюнино, получай дебаркадер. Но учты! Он течет.
– Приведем! – бодро сказал Фомич.

До Тютюнина было километров сорок. Ехал туда Живой на речном трамвайчике, и бесплатно – впервые в жизни. И оттого ему все очень нравилось на этом пароходике – сидишь под открытым небом на белой скамеечке, как в саду где-нибудь в городе Горьком... В Пугасове нет таких удобных скамеечек, это уж точно... Надоест тебе на солнышке греться – пожалуйста вниз. Тут скамейки длиннее. Положить мешок под голову, растянешься – и валяй храпака до самого Тютюнина. «Теперь и вовсе жить можно, – думал Фомич. – Не привезут, к примеру, хлеб в Прудки, а я на трамвайчик – и в Раскидуху. Туда-сюда обернулся, глядишь – и день прошел. И вроде бы на службе».

Дебаркадер для Прудков оказался самой обыкновенной баржей, какие строили раньше прудковские мужики, только на палубе вместо будки стояла шкиперская конторка в два окна да навес для пассажиров с четырьмя скамейками и столиком. Скамейки были такие же аккуратные и белые, как на речном трамвайчике, а в шкиперской стояла круглая чугунная буржуйка, шкафчик белый, как в аптеке, столик и топчан. «Да тут прямо курорт!» – подумал Фомич. Только вот беда: в трюме воды по самые копани, отчего дебаркадер притулился к берегу и брюхом лежал на песчаном дне.

– Как же я его доведу? – спросил Фомич, растерянно глядя на капитана трамвайчика.
– Жди меня обратным рейсом. Я камерон привезу.
– Это что еще за камерон?
– Эх ты, шкипер! А не знаешь, что такое камерон. Насос!

Камерон привезли только вечером. Фомич всю ночь не сомкнул глаз – воду откачивал, и когда в пять часов утра подошел к нему с буксирным тросом трамвайчик, дебаркадер легко покачивался на волнах. «Весь наружу вылез из воды... Того и гляди, улетит», – радостно думал Фомич.

На участок возвратились к восьми часам, как раз и начальство пришло на работу.

– Ну, пойдем теперь в контору... Оформляться! – сказал Живому капитан трамвайчика, бойкий симпатичный паренек, одетый по всей строгости: китель синий, пуговицы надраены, блестят, как золотые.

Он привел Фомича в диспетчерскую и весело сказал строгой женщине в мужской фуражке с крабом:

– Мария, вот тебе новый шкипер тютюнинского кунгаса.

Женщина резко вскинула голову, и ее рыжие длинные кудри, выбивавшиеся из-под фуражки, заколыхались, как причальные концы канатов.

– Не потопишь пристань? – спросила она Живого.

– Ну, как можно! Ведь государственное имущество...

– Ишь ты какой идейный! – усмехнулась женщина в фуражке. – Ну тогда посиди – я выпишу тебе путевку.

«А почему же не посидеть? – думал радостно Фомич. – Когда по делу, и посидеть не грех. Тут тепло и мухи не кусают». И диспетчерша ему понравилась. «Хоть и держится строго, а так на вид ничего из себя дамочка, представительная».

Потом Фомича «оформлял» председатель месткома, он же и начальник отдела кадров. И здесь Живому все понравилось. Кабинетик был хоть и маленький, но чистенький – все белилами выкрашено, везде шторы да скатерочки без помарки, видать, только из стирки. Прямо не кабинет, а лазаретик игрушечный.

Начальник отдела кадров был сутулый старичок, но все еще подвижный, в белом, хорошо отутюженном кителе и с такой же белой, словно свежестырированной бородкой.

«Вот бы и мне такой кителек получить, – думал Фомич, – да фуражку с крабом. Хотел бы я тогда с Мотяковым повстречаться».

Старичок завел на Фомича «дело» из картонной папки, анкету заполнил. А потом выдал Живому настоящую трудовую книжку и руку пожал.

– Желаю успешно трудиться.

Фомич совсем осмелел и спросил:

– А как насчет кителя с фуражкой? Они за казенный счет идут? Или по первому году не положено?

– У нас матросам и шкиперам обмундирование не дают.

– Ну да. И так хорошо, – согласился Фомич.

Потом чуть не вприпрыжку на склад бегал – получал цепи, причальные канаты, постель с двумя простынями, кастрюлю, чайник, котелок, миски. Целое хозяйство.

И когда наконец промычала долгожданная сирена, катер отвалил от берега и потащил на буксире дебаркадер, Живой даже перекрестился – кажется, впервые в жизни.

Пристань поставили недалеко от Кузякова яра, среди лугового раздолья. И потекла она, неторопливая, как Прокоша, спокойная шкиперская жизнь. «До зимы-то хоть душой отойду. А там видно будет», – думал Фомич.

Он не запомнил еще такого доброго, мягкого лета. Дожди шли как по заказу, затяжные и обильные с весны, но редкие грозовые в горячую сенокосную пору и в страду. Словно там на небесах появился наконец строгий разумный хозяин, который поглядывал на землю и грозно ворчал: «Кто там вольтит с уборкой? А ну-ка я его подстегну!» Залежалось сено в валках, глядишь – и туча сюда заворачивает, погромыхивает так, что земля вздрагивает. Едет турус на колесах! Но сечет дождем недолго, а только так, для острастки, чтоб лишку не спали.

Брёховские на том берегу Прокоши хорошо работали, дружно. Про них так говорили: «Эти четвертинку на пятерых выпьют и на другой день еще оставят». Народ там жил мастеровой, потомки знаменитых плотников. Артельный народ. И на трудодни хорошо получали, и зимой еще в отходе подрабатывали.

В луга выезжали они всем селом, шалаши ставили на речном берегу возле самых коровьих станов, к молоку поближе. И жили две-три недели широко, весело; на прибрежных дубках да липах висели румяные свиные окорока, в огромных черных котлах варилось сразу по полбарана, а на речном дне вдоль берега стояли, омываемые холодными родниковыми струями, цистерны с молоком. Потяни за веревку – и пей, сколько хочешь, пока спина не захладевает.

А прудковские ходили в луга пехом; пока соберутся, дойдут – солнце уже на жару гонит. Сядут полднеть – из реки кружками воду черпают да прихлебывают с хлебцем. А с другого берега брёховские кричат им, дразнят: «Э, родима, хлябай, хлябай, – вон ишо виднеется!» Рассказывали, что две прудковские бабы взяли в луга на двоих одно яйцо сырое. Сели полднеть – яйцо разбили да вылили с краю в озеро (посуды не было). Ветерок подул – яичные блестяшки по озеру и поплыли. Вот одна другую и подстегивает: «Родима, хлябай, хлябай, – вон ишо виднеется».

– Скарелники! – кричат через реку и отбиваются прудковские. – Расскажите, как четвертинку на пятерых распили?

Но разве брёховских переругаешь?

Под вечер запахи свежего бараньего супа и преющей на углях пшенной каши, плывущие с того берега, особенно тревожили Живого. И пристань его, как на грех, стояла напротив брёховского лугового стана. Случалось, правда, что и Фомича приглашали.

Как-то раз вылез напротив пристани из «газика» Петя Долгий и с минуту смотрел на пристань, прикрываясь ладонью от солнца.

– Это ты, что ли, капитанишь, Кузькин?

– Ен самый! – крикнул Фомич.

– Плыви сюда! – махнул рукой Петя Долгий. – Отметим твое продвижение.

У Живого в садке плескались три подлещика, да язь, да стерлядка. Так что и он приехал не с пустыми руками.

И не раз еще победный дух от стерляжьей ухи, исходивший от пристани, забирал в плен привередливые к запахам носы брёховских кашеваров.

– Эй, рыбак! Хочешь баранины за рыбу? А? Кило на кило... – кричали они.

– Шиш на шиш менять – только время терять! – отвечал Живой.

– А чего ж тебе еще?

– Котел каши вези в придачу.

В такие вечера Фомичу казалось, что жизнь изменяется вроде бы к лучшему. И народ оживел, отмяк в это лето. Шутка ли сказать, поставки всякие, налоги отменили. Первое лето не носили молоко по вечерам на сливные пункты, не разбавляли его водой, не химичили. Завел корову – молока пей, не хочу! И мясо не надо сдавать, и шерсть...

Живой опять козу купил. А поросенок вырос с большую прожорливую свинью. Авдотья всю крапиву на задах сжала и все парила для этой ненасытной скотины, а Фомич в полдни, когда пристань его закрывалась, ездил на ту сторону реки, на брёховский берег, собирал в кустах дикие яблоки.

Рано утром и к вечеру на пристани собирался народ из ближних и дальних сел – встречали гостей из города. Приезжали отпускники с Волги, из Горького, а больше все дзержинские. Еще в тридцатые годы, в пору коллективизации, половина Прудков переселилась туда, в бывший Растяпин, – заводы строили. Уходили в лаптях с мешками за спиной... А теперь приезжали с фибровыми чемоданами, с рюкзаками, полными булок, с длинными связками белых сушек, в два-три ряда, как ожерелья, свисавшими с плеч.

– Севодни хорошо у нас с хлебом стало, – говорили приезжие. – Хочешь булок, хочешь кренделей бери. И очередей нет. Жить можно.

– А у нас травы ноне хорошие, – говорили прудковские. – Раз косой махнешь – копна. Людей не хватает. Баюют, будто из города обратно переселять начнут в деревню.

– Но-но! Дураков теперь нет, – отвечали приезжие.

– А ежели по указу. Небось приедешь.

– Это где ж такие законы писаны, чтоб рабочего человека ущемлять? – встревал в разговор и Фомич.

В спорах он занимал теперь сторону городских. И когда спрашивал его кто-нибудь из приезжих: «Как живешь?» – Фомич отвечал обстоятельно:

– Я теперь начисто пролетариат стал... Так что жизнь рабочего класса известная.

А плохо ли, хорошо ли он теперь жил, Фомич, по совести сказать, и сам не знал. Главное – спокойно.

Но по ночам ему часто снился один и тот же неприятный сон: будто возле пристани на берегу собиралось много мешочников – сидели молча, свесив с берега ноги в лаптях, тощие мешки за спинами. «Вы чего ж там сидите? – спрашивал их Фомич. – Идите сюда, на пристань!» – «Оттуда, пожалуй, взашей прогонят, – отвечали. – А ты чего там? Давай лучше к нам!» – «Никто вас не тронет. Я здесь и есть главный начальник». – «Кто тебя знает, – отвечали мешочники. – Вроде бы ты не похож на начальника... Заманишь, поди. Нет, мы уж лучше здесь посидим. А там боязно...»

– Это тебя, Федька, нужда к себе зовет, – растолковал дед Филат Фомичов сон. – Вот зима подойдет, намытаришься ишо.

16

Как ни далекой казалась зима, как ни хотелось забыть о ней, а пришла. Сначала порыжели и стали облетать липовые рощи, потом как-то внезапно свернулись и опали почерневшие листья тальников; и зеленый мягкий противоположный берег сразу покраснел, ошетинился голыми прутьями краснотала.

На песчаных косах Прокоши больше не цвикали, не бегали вперегонки тонконогие вертлявые трясогузки, не плескались на перекатах жереха, не будили на заре Живого своими пронзительными криками «перевези! перевези!» кулики-перевозчики. И пассажиры приходили все реже и реже. Скучно стало на Прокоше.

А накануне Октябрьских праздников, когда вдоль поберегам уже позванивала на Прокоше хрупкая игольчатая шуга, пришел буксирный катер и увел дебаркадер. Фомич возвращался с участка уже по первой пороше. Вот она и зима.

Весь ноябрь Живой плел корзины, но брали их плохо и за полцены. Сезон прошел – картошка убрана в подполы да в хранилища, за грибами не пойдешь по снегу... Кому зимой нужны корзины?

Как-то на базаре в Тиханове Живого с корзинами встретил Петя Долгий:

– Чего ты эти кругляши вяжешь? Хочешь заработать, плети кошевки для розвальней. Хоть полсотни давай – все возьму.

Для санных кошевок прут нужен длинный, первосортный. Особенно на стояки. Поблизости хороший прут весь вырезали. У Живого была примечена одна тальниковая заросль на берегу укромного бочага, возле Богоявленского перевоза. Но он ждал, когда проложат через Прокошу санный путь; идти без дороги туда по мягкому снегу да еще без лыж трудно и небезопасно – провалиться в какое-нибудь болото можно.

Но тут пришло письмо от старшего сына: «Отслужил. Еду домой!» Вот и расходы новые... Надо встретить сына по-людски, погулять! Отдохнуть дать парню хоть с месяц. Не

гнать же на работу на другой день. «Пока он приедет, я кошевки три-четыре сплету да загоню их Пете Долгому. Вот и деньги», – решил Фомич.

На другой день с утра он стал собираться: затянул потуже свой полушубок, обушок за ремень заткнул да резак, веревку в карман положил, прутья в пучки связывать.

– Ну, мать, я пошел.

– Не ходил бы ноне, Федя. Видишь, поземка гуляет и небо со стороны Прокоши вроде бы замывает. Кабы метель не разыгралась.

Живой поглядел в окно – и правда, вроде бы краешек неба за Прокошей синел.

– Это не беда – ветер туда дует, разгонит. Эх, мать, где наша не пропадала! – Фомич похлопал себя по тощему животу. – Я ноне непродуваемый.

До Кузякова яра Фомич дошел быстро; тут, на открытом месте, хоть и гулял ветер да густо несло поземку, но снег не задерживался: по луговым увалам, рыжим от незанесенной отавы, он летел и летел к Прокоше, забивая в низинах частую щетину тальника и вытягиваясь на крутоярах в острые козырьки сугробов.

За Лукой, меж зарослей кустарников, было потише, но идти зато труднее – снег по колена. Фомич петлял больше все по увалам, боясь в низине провалиться в какое-нибудь плохо замерзшее болото. К Богоявленскому перевозу пришел он только к обеду. На берегах Прокоши было пусто – на этот раз черный неуклюжий паром Ивана Веселого увели по осенней воде.

Прокоша у берегов замерзла, и только посредине дымилась широкая черная полоса полыньи. Фомич вынул из-за пояса топор, подошел к берегу и грохнул обухом по льду.

– Гоу-ук! – округло и протяжно отдалось на другом берегу.

По льду лучами разошлись длинные трещины; а там, где ударил топор, белое пятно медленно темнело от проступившей снизу воды.

– Слабый лед, – сказал Фомич. – Придется итить берегом.

Он вышел на открытый косогор и удивился неожиданно сильному ветру. Пока Живой петлял вдоль кустарников по затишкам, направление ветра изменилось – теперь он дул с того берега Прокоши. А там, над темной стеной Бреховского леса, козырьком, наплывая, нахлобучивала сизое стылое небо иссиня-черная туча.

– Откуда ее вынесло? – опять вслух сказал Фомич.

Ему стало зябко; легкий холодок передернул его и застыл, за тайлся где-то промеж лопаток. «А не повернуть ли?» – невольно подумал Живой.

Но идти до прутьев было уже недалеко; тот небольшой бочаг с тальниковой зарослью примыкал почти к берегу реки. Собственно, это был в недалеком прошлом затончик, отделенный теперь от реки песчаной отмелью.

Бочаг хорошо замерз. И Живой резал тальниковые прутья прямо со льда. Путья были все одинаковой толщины, длинные, как на подбор, гибкие, но прочные...

– Хоть узлы вяжи из них, хоть кружева плети, – радовался Фомич. – Как шелковые... Тут, ей-богу, на четыре кошевки хватит.

Он рубил без роздыха до тех пор, пока не запарился. Потом сбросил с себя полушубок и, несмотря на пронзительный ветер, работал в одной рубахе, не чувствуя холода. Когда он уже связывал прутья в пучки, повалил хлопьями снег, замело, закрутило, и не поймешь, откуда больше летит, сверху или снизу. В двух шагах ничего не видно.

Живой взвалил наперевес на плечо два огромных пучка ивовых прутьев и чуть не присел от неожиданной тяжести. Потом обтерпелся – вроде ничего. Идти можно.

Свернул к реке. «Теперь вдоль реки придется топтать до самого Кузякова яра, а может, до Прудковского затона, – подумал Фомич. – Иначе заплутаешься». Идти вдоль Прокоши – значит сделать большой крюк, особенно за Богоявленским перевозом, где Прокоша выписывает петлю за петлей. Но что делать? Иного выхода нет.

Он спустился с высокого берега реки. Здесь было вроде потише, хоть ветер не свистел с такой заполошной силой. Однако спуск к воде был крутой, ноги скользили. И топать по косо-гору, да еще с пучками из прутьев, никак не возможно. Фомич опять достал топор и три раза стукнул по прибрежному льду. Но каждый раз появлялись трещины и просачивалась вода. Ступить на такой лед, идти по нему Фомич опять не решился. Пришлось вылезать на берег.

На высоких крутоярах ветер завывал в прутьях, хлопая лапами полушубка, и так внезапно и сильно толкал в бок, что Фомич оступался и, как пьяный, шарахался в сторону. Он держался на значительном расстоянии от берега, боясь свалиться.

В низинах, под прикрытием кустарников, было потише, но сильно крутило; снег набивался в нос, в глаза и даже забивался за воротник, таял, и редкие холодные струйки ползли по спине. Сугробы Фомич переходил вброд, погружаясь в снег, как в воду, по пояс. Вскоре штаны его выше валенок намокли, потом задубенели от ветра и мороза и густо покрылись налипшим и промерзшим снегом. «Что твои бинты», – подумал Фомич невесело. Бедрa были мокрые, поначалу мерзли и саднили, потом притерпелось. «Эх, теперь бы стеганные штаны, да потолще!.. – мечтал Фомич. – Я бы и на снегу переночевал. А в этих топай и паром грейся».

Он шел, пригнувшись, избочась, отворачивая от ветра лицо, тяжело и низко, почти до снега опустив руки. Пучки прутьев он привязал теперь за спину, перехватив спереди плечи и грудь веревками. Они глубоко врезались в полушубок, сдавливали грудь, резали плечи, отчего руки его немели и по пальцам бегали мурашки. Иногда он останавливался возле большого сугроба, опрокидывался в снег на спину и лежал, закрыв глаза, раскинув руки, до тех пор, пока снова не мог пошевелить затекшими и застывшими пальцами. Он вставал и шел до нового изнеможения, опять валился на спину, чтобы отдышаться и снова идти дальше.

Уже в сумерках подошел он к Кузякову яру. Здесь он решил распротираться с Прокошей, повернуть на Прудки и держаться прямо по ветру. Над яром дымились острые козырьки сугробов... Фомич слишком поздно смекнул, что берег под этими сугробами может быть обманчив. Он брел теперь, как утомленная лошадь, опустив голову и не глядя по сторонам. Поэтому поначалу удивился даже, когда качнулась перед глазами обнажившаяся черная кромка берега и огромный сугроб с гулом полетел в пропасть, увлекая за собой Фомича. Он стукнулся о что-то твердое ногой, перевернулся несколько раз и упал на спину. Минут пять он пролежал без движения, и ему даже приятно было оттого, как отходили ноющие натертые плечи и затекшие пальцы, только правая нога почему-то горела сильно, будто бы кто приложил к ней раскаленный кирпич. Наконец Фомич медленно опрокинулся на бок, потом попытался встать. Яркая, как молния, вспышка словно ослепила Фомича, и острая, пронзительная боль повалила его снова на спину. Он слегка застонал и потянулся рукой к правой ноге. Что с ней? Сломал или вывихнул? Но сквозь валенок трудно было что-либо прощупать, а пошевелить ступней он не мог, нога ниже колена не слушалась.

Фомич решил добираться ползком. Сначала он хотел было отвязать и бросить пучки прутьев, но как только подумал о том, что из них выйдет четыре превосходных санных кошевки, которые он загонит Пете Долгому по восемьдесят рублей каждую, то это намерение – бросить прутья – показалось ему невероятным.

«Путья первосортные брошу... Триста двадцать рублей из кармана выкинуть? Это ж рехнуться надо, – думал Фомич. – Вон дядя Николаха колодник отсюда на себе возил возами. А я прутьев не донесу! Да что я, иль не Кузькиной породы? Ну ж нет, батеньки мои, не дождетесь от меня такой подачки...»

Фомич, сцепив от боли зубы, выполз на берег и так, на четвереньках, с пучками прутьев за спиной, двинулся по ветру. Вскоре он потерял свои сшитые из старой шинели рукавицы и загребал снег побелевшими голыми пальцами. Холода он теперь не чувствовал вовсе, и боли в ноге тоже не было. Он плохо соображал, куда ползет, в каком направлении. Но зато хорошо знал, что на спину теперь переворачиваться нельзя, боялся, что силы не хватит, чтобы снова

встать на четвереньки. И на бок боялся лечь, чтобы не уснуть. Теперь он и отдыхал все в том же положении – на четвереньках, уткнувшись носом в снег. Кругом была ночь, бушевал снег, выл ветер, а он все полз и полз, каким-то необъяснимым волчьим чутьем выбирая именно то единственно верное направление, где в снежной коловерти потонули Прудки.

Нашли его ночью возле фермы. Головой он уткнулся в ворота, ползти дальше некуда. Думали, замерз...

Очнулся Фомич в больнице. Рядом с койкой сидела Авдотья с красными от слез глазами. Он посмотрел на забинтованные руки, ноги и сразу все вспомнил.

– Прутья-то целы? – спросил он.

– Целы, целы, – печально ответила Авдотья.

– Володька не приехал еще?

– Нынче телеграмма от него пришла. Завтра сам будет.

– Хорошо... – Фомич немного подумал и сказал: – Передай ему, пусть сам сплетет кошевки. Да смотрите не продешевите!.. Меньше восьмидесяти рублей за кошевку не брать... Кошевки будут первый сорт.

17

Больше месяца провалялся Живой в больнице – пока лодыжка под лубком не срослась. Появился в Прудках веселым, все шутил:

– Говорят, что бядро полгода срастается. Эх, не повезло мне! Кабы не лодыжку, а бядро поломал – вот лафа... До весны пролежал бы на дармовых харчах.

– Ты, Федька, и впрямь телом вроде б подобрел, – встретил его дед Филат. – Только с лица красен, как рак ошпаренный.

– Это я шкуру к весне меняю. Надоело в старой ходить. Ты бы, дядь Филат, поползал по снегу. Глядишь, и помолодел бы вроде меня.

– Говорят, у тебя и ногтей на пальцах нету. Сошли на нет?

– А мне что их, лаком красить да на поглядку выставлать, ногти-то? Доктор говорит, от них зараза одна. Главное – пальцы целы.

Он показывал всем свою чудом уцелевшую клешню и шевелил пальцами.

– Владеют. Есть ишо чем ухватиться. Жить можно.

С первесны подался на сторону старший сын Владимир. Уехал в Сормово на стройку. Пришлось снаряжать его в дорогу. С пустыми руками не отпустишь. И одежонку какую ни то надо – не в одном же обмундировании ходить ему. Покряхтел Фомич, но делать нечего. Зарезал свинью – отвез на базар. Отвез и мечту свою о корове.

– Поезжай, сын, устраивай себе жизнь. А об нас не беспокойся. На остаток денег Живой накопил картошки.

– Вот и нам радость, мать. Теперь до лета хватит. Значит, не помрем.

До лета Фомич не дотянул. В мае, в голодную пору межвременья, он вспомнил про Варвару Цыплакову и решил сходить в райсобес, пособия попросить.

И вдруг пришла в Прудки невероятная весть – Тихановский район закрыли. Не так чтобы закрыли – и все тут. Разъяснили, что район перестал быть рентабельным, то есть народ поразьехался, колхозы объединились да укрупнились – и район, значит, укрупнять надо. Назрело! Оно, может, и разумно, со стороны глядя, сказать: «Эко вы, милые, размахнулись – сорок две конторы на десять колхозов держите. Сократитесь!» Но тихановцы-то не хотели сокращаться; тихановцы продолжали думать, что район у них, как район, и все есть для района: конторы больше размещались в двухэтажных домах – и новых, и бывших кулацких, улицы булыжником мощены, а от чайной до клуба дощатый тротуар проложен... Чем хуже иных прочих? Но поди

ты... Проснулись утром тихановцы – нет района. Ни одной вывески на домах: ни райтопа, ни раймага, ни райисполкома... Как жить?

Фомич, услышав об этом, даже взгрустнул:

– В Пугасово не больно сбегаешь... И Варвары Цыплаковой там уж нет.

А более всего тихановцев возмутило то, что в их белокаменный двухэтажный райком привезли инвалидов и престарелых. «Дожили! Районом были – стали богадельней». Рынок на тихановском выгоне опустел, дома в цене пали... Даже забитые окна появились.

И началось в Тиханове великое брожение: начальство, которое со специальностью было, разъезжалось по своим ведомствам – банковские да почтовые в Пугасово переехали, а милиция, юристы – те даже в область подались. Демина отозвали в обком, Тимошкин в сельпо продавцом устроился, а для Мотякова места не находилось. Пугасовский председатель рика наотрез отказался брать его в заместители; сказал, что мне, мол, и своих выдвиженцев девать некуда. Специальности у Мотякова никакой не было, хлеб давно уж и позабыл, как пашут. Да ведь и не пошлешь его из председателей прямо в борозду. А хозяйственной должности или по кадровой части пока ничего не находилось. И Мотяков без дела ходил по лугам – рыбу ловил. Однажды Фомич встретился с ним.

Как-то под вечер раскинул Фомич свои донки под Кузяковым яром – стерлядей половить. Наживу добывал тут же: сняв штаны, зашел в воду и острым жестяным черпаком выковыривал из-под воды илистый синевато-серый грунт, в котором прятались куколки мотыля.

На самом яру остановилась черная заграничная машина. Фомич сразу узнал ее. «Зять полковника Агашина! Знать, из Москвы приехали», – подумал он.

Но из машины вылез сам Агашин, грузный бритоголовый старик с красным мясистым носом и маленькими под нахолхленными рыжими бровями серыми глазками.

– Здорово, Федор! – сказал полковник с крутояра. – Живой?

– Живой! А чего нам не жить? Воды сколько хочешь, в ней рыба – выбирай на вкус. Птица поверху летает всякая, – весело отвечал Фомич. – А вы когда приехали?

Полковник был старше Фомича лет на десять, среди односельчан это заметная возрастная разница, поэтому Фомич обращался к Агашину почтительно, с детства привык еще. Тот приезжал, бывало, в деревню козырем. Красный командир! И даже старики величали его по имени-отчеству – Михал Николав.

– Вчера приехал, – гудел сверху полковник. – Я тут не один... Давай и ты к нам!

Фомич привстал из воды, прикрыв срам обеими руками, и сказал так просто, для приличия:

– Вас самих, поди, много?

– Давай-давай! У нас тут сетишки есть. Бредешок закинем в Луке. Ты знаешь здесь хорошие местечки.

– С бредешком, конечно, можно было бы пройтись. И сети хорошо бы закинуть. Да уж и не знаю... запрещено! – в нерешительности стоял Фомич.

– Давай-давай! С нами тут власть, правда бывшая! – засмеялся полковник.

– Да вам что смотреть на власть? Вы сели да поехали, а мне тут жить... – Но Фомич уже без лишних проволок, не то еще передумают насчет приглашения, вылез из воды, надел штаны и в момент взобрался на берег.

– Ого, ты как козел еще прыгаешь, – сказал полковник и подвел Фомича к машине. – Полежай!

Фомич влез в машину и очутился на одном сиденье рядом с Мотяковым.

– Здравствуйте! – сказал Фомич, обращаясь как бы ко всем сразу.

– Привет! – сказал зять полковника.

А Мотяков промолчал.

Зять полковника сидел за рулем; это был еще молодой человек, но уже полный, круглолицый и очень приветливый. Фомич знаком был с ним и знал, что работает Роберт Иванович во Внешторге, побывал не раз в самой Америке и привез оттуда эту самую машину под названием «форд». Изнутри в машине сиденья были обшиты настоящей кожей, хорошо выделанной и простеженной на манер фуфайки; а поверху, над головой, и не поймешь, чем было обтянуто, – не то шелк твердый (Фомич потрогал пальцами, он впервые сидел в такой машине), не то клеенка какая-то красная, вся в мелких пупырышках. А возле заднего окошечка валялись журналы в ярких картинках: все девки в темных очках, а на теле голо: два маленьких лоскута, так, с Фомичову ладонь, чтоб срам прикрыть. «А темные очки надели от стыда, должно быть», – подумал Фомич.

– Нравится? – спросил Роберт Иванович.

– Да как сказать... Красиво, но как-то неуютно. Замарать боишься, – ответил Фомич.

– Хо-хо-хо! – оглушительно засмеялся полковник.

Подъехали к озеру. Из багажника вынули две сети капроновые. Фомич слышал про такие сети, но не видел еще и теперь с интересом разглядывал – нитки были желтоватые, крученые и очень тонкие.

– Больно тонкие нитки!.. Не порвется?

– А ты возьми, порви! – сказал полковник. – Бери! Ну? – Полковник всунул в руки Фомичу сеть. – Тяни! Тяни, тяни!..

Фомич сильно натянул ячею, так что нитки в пальцы врезались.

– Кряпка! – восхищенно произнес он.

Бредень был тоже хорош, хоть и не капроновый, но новенький, ячея мелкая и мотня большая – сом попадет, не вырвется. Бредень вытащили из машины, на спинках лежал.

– Неужто и бредень из Москвы везли? – спросил Фомич.

– Бредень его, – кивнул полковник на Мотякова.

Впервые за послевоенные годы Фомич видел Мотякова в обыкновенной белой рубаше с закатанными рукавами и не в галифе, а в простых серых брюках. И оказалось, что он не дюжее его, Фомича, так же худ и мосласт. И даже его широкий и ноздрястый нос, обычно грозно поднятый кверху, теперь казался смешной нашлапкой.

– Это что ж, ваш бредень или бывший риковский? – спросил Фомич Мотякова.

– Мой. А что?

– Дак ведь ты сам запрещал ловить бреднем? Зачем же его держал?

– Ты болтай поменьше! Вон делай, что заставляют.

Фомич с полковником разматывали сети.

– Что, Семен, не нравится критика снизу? – спросил полковник Мотякова. – Привыкай, брат... Теперь дело к демократии идет.

– Чтобы критиковать – тоже надо образование иметь, не то что наши дураки да лодыри. – Мотяков зло сплюнул и стал раскатывать бредень.

– Насчет образования это ты верно сказал, Семен! – осмелел Фомич. – Помнишь, у нас на курсах был учитель по гонометрии?

Он, бывало, говорил нам: запомните – образование положит конец неразумному усердию.

– А вы вместе учились? – спросил, улыбаясь, полковник.

– Вместе академию кончали. Разве не заметно по усердию Мотякова? – сказал Фомич.

– Прохвост! – Мотяков взвалил бредень и потащил его к воде. Полковник спросил:

– Федор, у тебя, наверное, здесь где-нибудь лодочка припрятана или ботничок? А то у нас надувная лодка, возиться не хочется.

– Есть! Как же без ботника? Я сейчас...

Фомич встал и пошел вдоль берега. Ботничок он хранил в камышовых зарослях. В том же тайнике у него лежали весла, банки с запасом червей, двукрылые шахи, связанные дедом

Филатом, удочки. Фомич взял ботало – железную воронку, надетую на конец тонкого шеста, длинное двухлопастное весло и прыгнул в ботник...

Сети ставил Фомич с ботника – всю Луку перегородил. Потом долго ботал – пугал рыбу то с одной стороны сетей, то с другой. Полковник с высокого берега давал указания:

– Бултыхни-ка вон у того куста! Во-во... А теперь от камышей зайди! Там что-то бухало... Шука, наверно.

Фомич вскидывал шест кверху жестяным раструбом и с маху бил, погружая его в воду.

«У-у-угг! У-у-угг!» – утробно разносилось по озеру.

– Хорошо! Вот как их! – отзывался с берега полковник. – А теперь вон из той заводи... Лупи их по мокрому месту!

Мотяков с Робертом Ивановичем растянули бредень, но после одного заброда махнули рукой. Берега были приглубые, и в трех метрах с головкой было, а там, где мелко, травы много: сусак да водяная зараза... Ноги не протащишь, не то что бредня. Бросив свой бредень, они, голые по пояс, сидели теперь на берегу и смотрели, как Фомич поднимал в ботничок сети.

Попались две небольшие, по локоть, щуки, судачок на кило и крупный, как хлебная лопата, лещ.

– А этот лежебока как сюда втюрился? – говорил Фомич, выпутывая из сетей леща. – Спросонья, должно быть, метнулся. Испугался! Так-то по трусости и в котел угодил, дурья башка.

Уха получилась отменная – духовитая, мутновато-белая, как раз «рыбацкого колеру», как сказал Фомич. Он кинул в нее три крупных луковицы да дикого укропу покрошил.

Рыбу вынул, положил на дощечку и посолил щедро крупной, как стеклянные бусы, солью. Полковник протянул было ему пачку мелкой белой соли. Но Фомич отставил ее:

– Этой солью только кисель солить или кашу манную.

Свою крупную соль достал он из заглазника – в мешочке хранилась, а потом еще в круглой старинной баночке из-под ландрина.

– Соль для рыбы – что перец для мяса, – сказал Фомич наставительно. – А без них что мясо, что рыба – трава травой.

– И откуда вам такую соль привозят? Как стекло давленное, – сказал Роберт Иванович.

– А мы сами ее давим. Из коровьего лизунца.

– Из чего?

– Лизунец коровий... Соль такая, камнями. Ее возле фермы бросают коровам для лизания. И в магазине такую же, камнями, продают.

– И вы едите такую соль? – Роберт Иванович покачал головой. Полковник задел деревянной ложкой дымящуюся уху и, причмокивая, медленно спил.

– Ну, Федор, «Националь» перед тобой – что осел перед донским скакуном...

– Само собой, – охотно подтвердил Фомич, хотя и не понял, что такое «Националь».

– Этой ухой и маршала не грех потчевать, – восторгался полковник. – Роберт, ну-ка вынь-ка две баночки!

«А зачем тут баночки? – подумал Фомич. – Что в них может быть хорошего? Теперь бы водочки с литровку – коленкор другой».

Роберт Иванович полез в рюкзак (Фомич искоса поглядывал за ним).

Фомичу хотелось еще чем-нибудь порадовать полковника, он сказал:

– Чайку захочется после рыбки. Я вам сейчас такой колер заварю, что писать можно.

Он срезал в кустах несколько стеблей у самого корня шиповника, нарвал цвета ежевики да наломал веток черной смородины с зелеными ягодами и все это положил в ведро, зачерпнул воды из озера и повесил чай варить.

– А не отравишь своим зельем-то? – спросил полковник.

– Помрешь – ни один профессор не определит отчего. Вот заварю – за ухо не оттащишь... Пока мы с рыбой покончим, и чай подойдет.

Расстелили плащ-палатку под развесистым, как шатер, дубом; в центре поставили дымящийся котел ухи, рыбу на доске и коньяк... Фомич как чай отхлебывал – и приговаривал:

– Лекарственная штука... Теперь бы по вечерам его принимать от простуды. И тогда лет до ста прожить можно.

Роберт Иванович сидел, прислонясь спиной к дубу, все смотрел с крутояра на тот берег и восклицал:

– Ну что за прелесть! Что за виды! Весь мир, кажется, объездил, а такой вот милой, скромной красоты не видывал.

Смотреть отсюда, с высокого берега, и впрямь было приятно: далеко, у горизонта, куда хватал глаз, синели в этот вечерний час мягкие округлые липовые рощицы, а сразу за озером одинокие темные дубки забрели по колено в пестрое от цветов разнотравье и застыли в раздумье, будто дорогу потеряли и теперь не знают, как выйти к лесу. Застыли, смирились со своим одиночеством. Целый день куда-то рвавшиеся за ветром, буйствовавшие травы тоже затихли. И камыши, уставшие склоняться день-деньской, над водой шуметь, тоже выпрямились, стали выше, отраженные в спокойной прозрачной воде. Все в этот час в природе было согласным, покорным и, зная, оттого трогательно-грустным. Ни ветерка, ни дуновения. И даже птицы, казалось, понимали, что громко кричать неприлично; где-то на том берегу торопливо лопотал свое «спать пора!» перепел, да из ближних кустов тоненько позванивала овсяночка: «Вези сено да не тряс-и-и! Вези сено да не тряс-и-и...»

Фомичу от этой тихой красоты стало хорошо и грустно, и он сказал со вздохом:

– И зачем живет человек на свете, спрашивается? Красотой полюбоваться... Добро в себе найти и другим добро сделать... На радость чтобы. А мы рычим друг на друга, как звери. Тьфу! – Он достал свой кисет, но поглядывал на коробку «Казбека», лежавшую возле полковника.

– Не красотой любоваться, а работать надо. Враз и навсегда! – сказал Мотяков.

– А ты чего же не работаешь? – Фомич свернул было сигарку, но потом сунул ее в кисет и потянулся за папиросами.

– Пожалуйста, пожалуйста! – подал коробку полковник.

– Это не твоего ума дело, – ответил Мотяков.

– То-то оно и есть... Вам, Михал Николав, не приходилось видеть, как курушка над утятами командывает? – обернулся Фомич к полковнику.

– Вроде бы у нас в Прудках раньше сами утки сидели на яйцах, – ответил полковник.

– То раньше! А теперь и утки пошли привередливыми. Яйца нанесет, а садиться не хочет. Вот вместо нее курушку и сажают. Та поглупее! – Живой затянулся, пустил дым кольцами, что твой пароход. – Так вот, выведет эта курушка цыплят на выгон и квохчет перед ними, хорохорится, хвост распускает. Все приказывает на своем курином языке – делай то, а не это. Но вот дойдут вместе до озера, утята – в воду и поплыли. А курушка на берегу квохчет. Оказывается, плавать-то она и не умеет. А все командовала – делай то, а не это. Так вот и у нас начальники иные. Сидит на посту, распоряжается – делай так-то и эдак. Командует! А снимут – куда посылать? Он, оказывается, работать-то не умеет.

– Ты на кого это намекаешь? – спросил, багровея, Мотяков.

– Да будет тебе, Семен! Шутки надо понимать, – сказал полковник.

Фомич и ухом не повел.

– Кому надо, тот поймет. А для того, кто не понял, я еще один анекдот расскажу. Это по вашей части, Роберт Иванович.

Тот курил, заслонясь ладонью, и беззвучно смеялся.

– Ты мне ответишь за свои антисоветские анекдоты враз и навсегда! – перебил его Мотяков.

– Это не антисоветские, а против разжалованных вроде тебя, – сказал Фомич.

– Ты что, в озере купаться захотел? – привстал Мотяков.

– Я те не утенок... Смотри, сам не окажись там вроде той курушки, которой охолонуть надо! – Фомич тоже привстал на колено.

– Ну ладно, ладно! – Полковник взял их за плечи. – Здесь пьют, шутят... А кто хочет счета сводить, мы наградим того штафной.

– А не боишься? – спросил Фомича полковник. – Вдруг Мотяков опять вашим начальником станет?

– Его песенка спета, – сказал Фомич и, помолчав, добавил: – А мне терять нечего, кроме своих мозолистых рук.

– Как нечего? А пристань? Должность!

– Я от этой должности нонешней зимой на одной картошке выехал. Кабы не картошка, ноги протянул бы. При этой должности, Михал Николае, хороший корень в земле надо иметь. А у меня все, что на мне, то и при мне. Яко наг, яко благ, яко нет ничего.

– Тогда иди в колхоз... Пускай корни в землю.

– Рад бы в рай, да грехи не пускают.

– Это что еще за грехи?

– Смолоду нагрешил. Одного на сторону свалил, а пятеро при мне.

– Ну, это ты брось... Главное, нос не вешать. – Полковник поднял розовый колпачок коньяка: – За непотопляемый прудковский броненосец и его славного шкипера Федора Фомича Кузькина!..

18

Однажды хмурым июньским днем к прудковской пристани причалил катер. Забрав пассажиров, капитан сказал Фомичу:

– Вот тебе буксирный трос. Зачаливай свою пристань и руби концы... Приказано доставить твой сундук на участок.

– Это как понимать? – растерянно спросил Фомич.

– Как хочешь, так и понимай. – Капитан был стар и неразговорчив.

– По причине ремонта или как? – допытывался Фомич. – Может, ликвидация?

– В конторе скажут.

Весь путь до Раскидухи Живой метался по своей пристани, как заяц по островку, отрезанный половодьем. В голову лезли всякие тревожные мысли насчет ликвидации, но он гнал их, цепляясь за ремонт... «Да что я, в самом деле, ремонта испугался? Ну, постою недельки две на участке, проконопачусь... Только и делов. А может, и новый дебаркадер дадут? Теперь техника вон как в гору пошла. У меня ж не дебаркадер – и впрямь сундук старый. Одной воды из него выливаешь ведер сто за день. Я что, насос-камерон?»

Вспомнил Живой, как еще прошлой осенью писал в контору заявление, чтобы починили дебаркадер либо матроса еще назначили, «потому как одному отбоя от воды нет, а семью свою держать на откачке задаром не имеем полного права...». Садок Парфентьевич ответил коротко: «Просмолим». Но не прошло и месяца с весны, как дебаркадер снова потек.

«Поди, совесть сказала у них. Комиссия осмотрит, а там, глядишь, Дуню проведу к себе матросом. И заживем...»

Напоследок Фомич написал карандашом на тетрадном листе новое заявление насчет ремонта. Может, пригодится?

В контору вошел он вроде бы успокоенный.

– Меня что, в ремонт определили? – спросил он рыжую диспетчершу.

– Заместитель по кадрам все вам объяснит, – ответила она уклончиво.

– Это кто ж такой? Владимир Валерианович?

– Нового прислали. Он в кабинете Садока Парфентьевича.

Из диспетчерской дверь вела в кабинет начальника.

– Ну-ка я спрошу! – Фомич взялся за дверную ручку.

– Погодите! – строго сказала диспетчерша. – Что, не слышите? Он же занят.

Из кабинета доносились голоса. Дверь была тонкая, фанерная. Живой подался ухом к филенке, прислушался.

– Я вам говорю – план выполнять надо, план! Интересы государства! А вы мне про детей да про варево... – раздраженно произносил вроде бы знакомый голос.

Другой звучал глухо, просительно:

– А семьи наши в чем виноватые?

– Да кто вас просил с собой их брать? Здесь что, производство или детский сад? А! Колхоз?

Знакомый голос, знакомый голос! Живой даже на дверь слегка надавил, но она предательски скрипнула.

– Товарищ Кузькин, ступайте на берег. – Диспетчерша встала и выпроводила Фомича за дверь. – Когда надо – позовем.

Делать нечего. Живой вышел на берег.

Неподалеку от конторского дебаркадера стояли две большие деревянные баржи. Возле барж сидели две бабы в фуфайках да мужик, небритый, седой, в резиновых сапогах и брезентовой куртке. «Видать, матросы с баржи», – сообразил Фомич.

– Вы чего, как цыгане, расположились? – спросил он, подсаживаясь к мужику и вынимая кисет.

– Да уволили... Без предупреждений, – ответил матрос, закуривая Фомичовой махорки.

– Как так?

– Да вот так... – Матрос длинно выругался. – Начальник новый появился.

– А Садока Парфентьевич?

– В отпуск ушел. Остался за него заместитель по кадрам. Нового прислали... Такая щетина, что не говорит, не смотрит.

– Вот оно что! – Фомич теперь понял, почему его в кабинет не пустили. – До порядку, видать, охочий. Меня тоже вот с места сорвал. Пристань моя чем-то не понравилась. Во-он она стоит! – Фомич кивнул на свой дебаркадер, причаленный к берегу. – Из Прудков сняли.

– Ликвидируют?

– Ну, этот номер у них не пройдет. Мы тоже законы знаем. – Фомич сплюнул в воду. – А вы откуда?

– Из-под Елатьмы.

– Дальние!

– Не говори. Мы дрова на барках возили. А тут на Петлявке камень где-то не успели вывезти. План, что ли, не выполняют. Он и задержал наши баржи. «Выгружайся!» – «Как так?» – «А вот так. За камнем пойдут ваши баржи». – «А мы?» – «Неделю посидите на берегу. Ничего с вами не случится». Вот и сидим. И домой ехать – за сто верст киселя хлебать. И тут несладко. Ребятишки...

– Да, этот хрябрец, видать, из выдвиженцев, – сказал Фомич. – Я к нему было сунулся – и на порог не пустил. Через дверь поговорили... В нашем районе был один такой. Сапог сапогом, а войдешь к нему в кабинет – и не глядит. Сам, паразит, сидит, а тебя стоять заставляет. А все почему? Потому как академию под порогом кончал. Вот и этот заместитель по кадрам, видать, такой же академик...

Матрос толкнул Фомича локтем в бок. Фомич обернулся и застыл. Перед ним стоял в синем кителе, в фуражке с крабом Мотяков. По тому, что был он в сопровождении Владимира Валериановича и дюжего парня в резиновых сапогах и в фуфайке, – видать, второго матроса с баржи, – Живой сразу догадался, что новый заместитель по кадрам и есть не кто иной, как сам Мотяков.

Он не крикнул на Фомича, не обругал его – только повел ноздрями, как бы принюхиваясь, и ушел, так ничего не сказав.

– Ну, теперь он сядет на тебя верхом, – сказал матрос в брезентовой куртке.

Фомич только плюнул и кинул окуроч в Прокошу... С тяжелым сердцем шел он теперь в контору. Мотяков на этот раз не заставил его ждать за дверями. Он кивнул Фомичу на стул у стены, сам прошелся несколько раз по кабинету, знакомо заложив руки в карманы. Наконец сел за стол и еще долго смотрел на Живого, будто впервые видел его.

– Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, товарищ Кузькин, – сказал он, миролюбиво и очень даже любезно глядя на Фомича. – В Прудки ваш дебаркадер не пойдет.

– А куда же он пойдет? – У Живого в момент взмокла вся спина.

– На Петлявку, в Высокое. Будет стоять там под общежитие грузчиков. Отправляйтесь завтра же.

– А в Прудки кто пойдет?

– В Прудках пристань сокращаем в целях экономии.

– А пассажиры как же?

– Там пассажиров-то два человека в день. Один убыток.

– Вон вы как рассуждаете! А ежели на Север двух человек посылают? Им и самолеты дают, и шиколату с мармеладом на целый год. А наши чем хуже их?

– Ты мне политграмоту не читай, враз и навсегда... У нас план – сократить две пристани. Экономия. Понял?

– На двух шкиперах много не сэкономишь.

– По нашему участку – да. А по всей стране? Сколько таких участков? Может, сто тысяч? Вот и подсчитай.

– Насчет остальных я не знаю. Только мне в Высокое никак нельзя иттить. Я весь оклад там проем. А чего семье пошлю?

– Не хотите – увольняйтесь.

Живой вдруг вспомнил про заявление насчет ремонта, вынул из бокового кармана, в бумажнике хранилось.

– Поскольку дебаркадер мой худой, вода натекает за ночь по самые копани, в Высокое мне иттить одному никак нельзя. Там семьи у меня нет, которая помогала бы отливать воду. Либо матроса мне назначайте, либо жену мою матросом проводите. Прошу не отказать в просьбе. – Живой положил заявление на стол перед Мотяковым.

Тот прочел и пронзительно уставился на Живого:

– Ты с кем это думал, один?

– Один.

– Вот и поезжай один в Высокое. И не дури.

– Не могу... Дебаркадер течет. По самые копани вода. Идите посмотрите.

– Ты ее нарочно напустил.

– Я вас не понимаю. Как так нарочно? Поясните! Вы человек при должности.

– Я знаю. Я все знаю, враз и навсегда! – Мотяков погрозил пальцем. – Выводишь на берег и заливаешь воду.

– Это как же? Через борт ведрами? – Живой иронически глядел на Мотякова.

Тот понял, что хватил через край, но продолжал напирать:

– А по-всякому... Ты мастер отлынивать от работы. Я тебя знаю.

– Ага! – Живой мотнул головой. – Есть такая притча о гулящей свекрови и честной снохе. Свекровь подгуливала в молодости и не верила снохе, что та мужу верность соблюдает. И сына учила: ты побей ее, может, откроется. Так и вы.

– Поговори у меня! – Мотяков не так сильно, как бывало в рике, но все же ладонью прихлопнул по столу. – Захочешь работать, сам качать будешь.

– Я вам что, камерон? У меня на руке вон только два пальца. Я инвалид войны. Давайте мне матроса!

– Да пойми, голова два уха! Сокращение у нас. Либо иди в Высокое, либо увольняйся, враз и навсегда.

Вышел Фомич от Мотякова как во хмелю, аж в сторону шибало. Зашел в ларек.

– Валя, дай-ка мне поллитру перцовочки.

– Ты чего нос повесил, дядя Федя?

– Небось повесишь... – Фомич только рукой махнул. – Вся жизнь моя к закату пошла...

Возле ларька встретил его небритый матрос в брезентовой куртке.

– Ну, что он тебе сказал?

– В Высокое посылает. А мне жить на два дома никак нельзя. Всего четыреста восемьдесят пять рублей. Чего их делить? Ну и беда свалилась... – Фомич сокрушенно качал головой.

– Да брось ты, чудак-человек! Руки-ноги имеешь, и голова на плечах! Проживешь! Ноне не прежние времена. Пошли к нам! У нас ужин варится. Как раз и выпьем.

На берегу Прокоши на месте бывших куч тряпья стоял брезентовый балаган. Перед ним вовсю горел костер. Дым, сбиваемый ветром, сваливал под крутой берег и медленно расползался над рекой. На треноге кипел, бушевал котел с варевом. Бабы расстилали перед балаганом мешки, клали на них хлеб, чашки, ложки. Босоногие ребятишки с визгом носились вокруг костра.

– Тише вы, оглашенные! Смотрите, в огонь не свалитесь... Тогда и жрать не получите! – шумели на них бабы.

Второй матрос, тот, что был у Мотякова, теперь в одной рубахе с закатанными рукавами, босой, красный от огня, помешивал в котле, поминутно черпал деревянной ложкой, сильно дул в нее и громко схлебывал горячее варево.

– Бог на помощь! – сказал Живой, подходя.

– Ужинать с нами, – отозвались бабы.

– Кулеш с пылу с жару... Выставляй бутылок пару! – сказал матрос от костра, косясь на отдутый карман Живого.

– Сдваивай! – Живой поставил на мешковину перцовку.

– Дельно! Маня, принеси бутылочку! – сказал матрос от костра. Давеча, издали, он показался Фомичу совсем молодым. Теперь кепки на нем не было – во всю его голову раздалась широкая лысина, по которой жиденько кудрявился рыжеватый пушок. Он снял котел с дымящимся кулешом и крикнул:

– Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!

Разлили кулеш – мужикам в одну чашку, бабам и ребятишкам – в другую. Появилась еще бутылка, заткнутая тряпичным кляпом. Самогонку цедили сквозь губы, морщились, крякали. Она была хороша.

– Неужто сами производите? – спросил Фомич.

– А чего ж мудреного, – сказал небритый.

– Аппарат нужен.

– Мой аппарат – вон блюдце да тарелка. Только сахару подкладывай, – хитро подмигнул небритый.

– С таким аппаратом вам ветер в спину. И дождь не страшен, – улыбнулся Живой. – Мой табачок по такому же рецепту сработан. Ну-кася!

Он вынул кисет и пустил его по кругу. Закурили.

– Дождь теперь в самый раз под траву, – сказал, помолчав, старик.

– Да, сена ноне будут добрые, – подтвердил лысый.

– Все равно половина лугов пропадет. Выкашивать не успевают, – сказал Фомич.

– Нет, у нас в прошлом годе все выскоблили. Косили и старики, и бабы – третью часть накошенного сена колхозникам давали.

– У нас до этого не дошло. Все жмутся... Эх, хозяева! – вздохнул Фомич.

– Нужда заставит – дойдут, – сказал лысый.

– Дак по нужде-то давно уж пора дойтить.

– Те, которые с головой, ноне от нужды уходят, – сказал старик. – Наши вон исхитрились лук на городах растить. Государству сдаст – и то по два рубля семьдесят копеек за кило. Вот и деньги!

– Теперь еще и ссуды под корову дают. А в ином колхозе и телку бери, – подхватил лысый.

– Да, это я слыхал... В Брёхове у нас дают. Там председатель сильный. Петя Долгий, мой друг-приятель, – соврал Живой. – Он все зовет меня. А вы, случаем, не думаете в колхоз вернуться?

– У нас не горит, – ответил старик. – Обождем малость, посмотрим, что выйдет. Осенью, правда, приезжаем домой на помощь. Картошку копаем в колхозе исполу. На зиму запасаем и себе, и свиньям.

– Это хорошо! А сенца раздобыть – и корову завести можно. Ежели ссуду дают под корову, почему б и не взять? – спрашивал, оживляясь, Фомич. – Я ведь мастак по коровам был. Очень даже умею выбрать корову. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке, меж молоко ходит до четырех недель... Добрая корова! Потом колодец пощупать... меж утробы и груди. Большой палец по сгиб погрузнет – пуд молока в день даст... А что? Вот возьму и подамся к Пете Долгому. Чем в Высокое за полста верст, лучше в Брёхово. Побегая сначала с работы в Прудки. Это ничего. Мне не впервой. Я на ходу легкий. Зато корову получу...

Фомич жадно затягивается табаком, улыбается. Он думает о том, как ловко проведет Мотякова; как придет в контору и выкинет ему кукиш: «Ты меня в Высокое хотел загнать... На-кась, выкуси!...» Голова его кружится от хмеля. Ему и в самом деле хорошо и весело.

– По нонешним временам везде жить можно, – сказал старик.

– Это верно, – соглашается Фомич. – Теперь жить можно.

* * *

Записал я эту историю в деревне Прудки со слов самого Федора Фомича Кузькина в 1956 году. Записал да отложил в сторону.

Как-то, перебирая свои старые бумаги, наткнулся я на эту тетрадь. История мне показалась занятной. Я съездил в Прудки, дал прочесть ее Федору Фомичу, и поныне здравствующему, чтоб он исправил, если что не так.

– В точности получилось, – сказал Федор Фомич. – Только конец неинтересный. Хочешь расскажу, что дальше? Дальше полегше пошло...

Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая история. А та – кончилась.

– Точно так, – подтвердил Федор Фомич. – Да ты не горюй. Напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит...

1964–1965

История села Брѣхова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным

*На лестнице, по которой разум человеческий нисходить
долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и
улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.*

А. Радищев

Вместо предисловия

Однажды Петр Афанасиевич Булкин, с которым я был хорошо знаком, попросил меня отвезти его рукопись в какой-нибудь толстый журнал. Выбор пал на Ивана Боборыкина, редактора популярного журнала «Красное семя».

– Кем он доводится тому Боборыкину, который написал про Китай-город? – спросил Петр Афанасиевич.

– Кажется, внуком, – ответил я.

– Тогда ему отдайте. Эти не подведут – наши люди. Хорошей фамилии.

Однако знаменитый критик наш огорчил Петра Афанасиевича. Он написал ему:

«Дорогой тов. Булкин! Вам еще рано братья за перо: Вы человек необразованный. Рекомендую поступить в народный университет, активно посещать лекции по литературе и искусству. Во-первых, Вы пишете только о том, что прошло, а нам нужно про сегодняшний день. Во-вторых, у Вас нет ни сюжета, ни характеров, ни языка. И по мысли путано, народ не примет такую книгу и не поймет. Вот Вы, например, пишете – «гепат». А ведь такого слова нет в природе. Есть слово «гомеопат».

И т. д. и т. п.

На что Петр Афанасиевич ответил ему длинным письмом, в котором не трудно заметить и ум, и находчивость, и литературную осведомленность. Вот отрывок из этого письма:

«Многоуважаемый тов. Боборыкин!

Не стану спорить насчет образования, а также насчет того, нужно Ваше образование писателю или нет. Я, например, видел писателей (в Брѣхово к нам приезжали), которые говорят «етта» и «булхактер», а нужно говорить «это» и «булгахтер». Ну и что? А пишут они, между прочим, не хуже Вашего. И Вы их сами печатаете. Или Вы упрекаете меня насчет отсутствия сюжета? А знаете ли Вы такого знаменитого современного писателя Владилена Золотушкина? Между прочим, он занимательно доказал, что его фамилия происходит не от золотухи – детской болезни, а от золотых приисков, которые хотели открыть в их деревне на речке Пискаревке, потому что нашли золотой самородок в помете гуся. Правда, когда капнули в городе на этот самородок кислотой, он зашипел и оказался стертой медной бляшкой. А ведь про это книга написана, да еще какая. Вы ее читали? У нее есть сюжет? Нет. И не нужен. Золотушкин доказал, что сюжет – пережиток прошлого.

А таперика возьмем слово «гепат». Вы пишете, якобы правильно будет «гомеопат». Может, у Вас так и говорят. Не спорю. Но давайте посмотрим, от чего произошло это слово? Ясно же, от аптеки, из которой гепат выписывает свои лекарства. А из какой аптеки он выписывает? Только из гепатической. То есть из той, которая стоит у Вас, в Москве, на Колхозной площади.

Неужели Вы не слышали? Мы в Брёхове и то знаем про эту аптеку. Даже мой брат Леванид туда ездил за лекарством. Вот таперика и объясните мне – что такое грамотность и как ее следует понимать.

Очень странный вопрос Вы мне задали и насчет того, про какой день писать: про вчерашний или про сегодняшний? Интересно, как же я мог написать про сегодняшний день, когда он еще не прошел? Во-первых, надо подождать, пока он пройдет, и посмотреть – что из этого получится. Во-вторых, надо еще написать... А на это потратишь не один только день и, может, не один год...

Даже Владилен Золотушкин не успевает написать про сегодняшний день. Недаром читают его и говорят: «А-а! Это уже было...»

Увы, дорогой читатель! Этот интересный спор так и не окончился: Петра Афанасиевича не стало. Прошлой зимой поехали они вместе с братом за сеном в луга. Дорога дальняя... Наняли шофера-левака из соседней ЛМС, взяли водки и поехали на ночь глядя. На беду разыгрался ветер, перемело дорогу... Они и застряли, до лугов не добравшись. Куда идти в такую пору?! Выпили водки и уснули. Петр Афанасиевич прямо в кузове, а шофер с Леонидом в кабине. Утром нашли их... те, что в кабине, обморозили руки да ноги, а Петр Афанасиевич замерз до смерти. Вот и пришлось мне брать на себя все хлопоты по изданию его рукописи. Я ее почти не тронул, только добавил кое-где знаков препинания. При всем моем уважении к Ивану Боборыкину, я не могу согласиться с его приговором: «Эту книгу народ не примет и не поймет». Примет ли, нет ли – не знаю. Но что поймет – уж в этом я уверен.

С чего началось

Вчера мы ходили с председателем колхоза Звонаревым Петром Ермолаевичем, прозванным в селе Петей Долгим, в новую школу. Такая она большая, столько в ней всяких перегородок – заблудиться можно. Входим в одну комнату – на каждом столе лампочка под цветным колпаком, как гриб торчит. Полы серым матерьялом покрыты, под названием линолим. Идешь по нему – а каблучки шлеп-шлеп, как по воде, только брызг нету. А вдоль стен все книжные шкафы стоят.

– Что ж это за комната такая? – спрашиваю.

– Это читальный зал, – отвечает Петя Долгий.

«Эх, брат родной! Таперика, – думаю, – и помирать здесь буду». Люблю я книжки читать. В одной книжке про одно написано, в другой – про другое. И все-то они разные. Хорошая книжка всегда писана с секретом, как ларец потайной. Чтобы открыть секрет, голову на плечах иметь надо, а не вареную тыкву. Оглядываю это я книжные шкафы и говорю Петру Ермолаевичу:

– Веришь или нет, но моя жена Маруся ни одной книжки не прочла.

– А какое у нее образование? – спрашивает он.

– Да никакого. Ни бум-бум.

– Как же она станет читать, если неграмотная? Она не может, – сказал Петя Долгий.

А я отвечаю:

– Не то беда, что не может, а то, что не вникает. Я многое чего не мог, да вник. И никто меня не учил. А таперика вот и книги читаю, и сочинять умею.

У меня даже стихотворение в районной газете напечатали про Седьмое ноября:

С деревьев листья падают,
И дождь, как из ведра.

Но нас погода радует —
Мы вышли изутра́.

Я человек заслуженный — персональный пенсионер. Мне платят шестьдесят рублей областной пенсии. И по случаю праздника Петя Долгий пригласил меня выступить перед школьниками — как мы раньше жили и как сейчас живем.

— Товарищи пионеры! — сказал я. — Строй раньше был угнетенный... В школу не ходили, уровень свой не повышали. Я сам только две зимы учился. Да как учился? Снег поглубже выпадет — дома сижу. Валенки не было — одни опорки. А в опорках куда идти по глубокому снегу? Но сейчас, товарищи пионеры, чего не жить? Мы живем лучше, чем при коммунизме. Лечат бесплатно и учат вас бесплатно. И все равно общество не должно стоять на месте. Оно движется вперед, как земля вертится. Но я вам, товарищи пионеры, не то хотел сказать. Надо слушаться мать с отцом. Не то вы совсем разучитесь, как моя Валька. Только бы она пудрилась да наводилась...

Речь моя всем очень понравилась, а Петя Долгий сказал:

— Может быть, ты, Петр Афанасиевич, станешь в школе работать?

— Кем работать?

— Да вроде завхозом... Ночью охранять здание, а днем за порядком следить — звонки вовремя давать. Мы тебе от колхоза положим зарплату — пятьдесят рублей в месяц.

— И за лошадей мне смотреть?

— Для этого у нас конюх имеется. А ваша солидность нужна здесь для порядка.

А что ж, думаю, для порядка надо постараться. И деньги хорошие. К моей пенсии да еще пятьдесят рублей — жить можно. Отчего ж не пойти? Все равно я по ночам не сплю, как сыч корабишинский. (Корабишино — это у нас лесное село, я про него потом напишу.)

И согласился. Достал из сундука белый китель из чесучи, который носил, когда еще председателем колхоза был, брюки диагональные, темно-синие галифе, сапожки опойковые... Шляпу свою соломенную достал. Встал, как на вахту. И не то что ученики, учителя замирали передо мной. А завтро, старушка Семкина, слепа за военука меня приняла.

— А вы, — говорит, — товарищ подполковник, почему не на уроке?

— А я на часах, — отвечаю.

Поднес к ее уху звонок да как ахну. Она и присела...

Я этот разговор к чему веду? А к тому, что с той работы все и началось. Днем между звонками подремлю малость, а ночь подойдет — не могу заснуть, и шаш! Хоть глаза выколи. Дома от нечего делать с Маруськой поругаешься. А здесь тишина... Ну, прямо виши от скуки дохнут. И книжки-то из рук вываливаются, потому что мысли одолевают. «А что, — думаю, — дай-ка я про наше село Брехово книжку напишу. Ведь другие пишут. А я чем хуже?» Был со мной на охоте один писатель. Разговорились — а он не знает, что такое дерево, которым сено в возах утягивают. Я ему:

— Как же это вы пишете книжки про деревню, а сами не знаете, что такое дерево?

— Ну, — говорит, — деревья бывают разные: и дуб, и ясень, и осина... Всех не удержишь.

— То дерево на корню, — отвечаю, — а это в деле. Разница! Без этого дерева сена не привезешь. Оно у каждого народа по-своему называется. У нас одно дерево, а вон татары называют его бастрык. Татарин и то знает, а вы не знаете. А еще книжки про мужиков пишете.

Может быть, я чего и не учту по художественному уровню, пусть уж критики на меня не обижаются. Но зато я не перепутаю дерева на корню с деревом в деле. А историй про село Брехово я знаю много. Начну-ка я их записывать. Как ночь, так история. Ну, точен-в-точен как в книжке про тысячу и одну сказку. Только я сам себе и царевна и персидский шах.

Почему наше село называется Брёхово?

История для села – это одно и то же, что автобиография для человека. Как человеку нужна автобиография для службы, так и селу для колхозного строительства, для районных справок, донесений, так и далее нужна история. Но сказать по правде, настоящая история села Брёхова началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным праздникам, да по будничным дням работа. И потом другое надо учесть – ни сельсовета, ни колхоза не было. Какая же могла быть общая история у села? Никакой общей истории быть не могло, потому что село было разбито на единоличные хозяйства. А если писать про отдельные хозяйства, то получится несколько отдельных историй, ну вроде рассказов. И больше ничего – никакой политики. А настоящая история всегда с политикой связана. Это надо уяснить каждому со школьной скамьи.

Таперика надо написать – почему наше село называется Брёхово? Если вы бывали в наших местах, то заметили, наверное, хоть из Прудков, хоть из Корабишина, хоть из Самодуровки Брёховский бугор. Старики рассказывают, что раньше, может, лет двести, а может, и триста тому назад, съезжались сюда бары на охоту. На самом угоре стояла псарня помещика Брюхатова и псаря его жили. Вот от этих псарей и пошло наше село. А Филипп Самоченков рассказывал мне, якобы в жены им привозили дворовых девок из Самодуровки; которую, значит, обрюхатит барин или кто из его помощников, присылают в Брёхово. Но наперед заставят ее липу посадить, а потом уж за псаря замуж выдают. Так и выросла под Брёховом целая липовая роща. И название она имеет – Приблудная.

Село наше большое, торговое. Раньше к нам на базар приезжали из райцентра Тиханова и даже из города Пугасова. И все улицы нашего села по-базарному назывались: Сенная, Конная, Горшечная, так и далее. А в годы нэпа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да двенадцать лавок. Все это исходило от нашего бескультурья. Таперика от этого наследия прошлого не осталось и следа. Есть у нас клуб, магазин, школа-десятилетка. А все улицы называются по-современному: Пролетарская, Максима Горького, имени Луначарского, – последняя сокращенно называется «Имначас». Но это для неофициальных разговоров.

Есть у нас еще пережиток от старого прошлого – село с селом ругается. Например, корабишинских мы зовем талагаями, а они нас – каменными сдобами. Ругательское слово «талагай» ничего не означает по-русски. Узнал я от заезжего писателя (который не мог отличить дерево на корню от дерева в деле), якобы талагай – слово латышское, вроде бы по-нашему означает странник, далеко зашедший. Пожалуй, в этом есть правда. Почему? А потому что в Корабишине, по старому говоря, жила литва некрещеная. Будто их какой-то князь в карты проиграл и перевезли их к нам в лес. Доказательством нерусского происхождения служит еще и то, что у корабишинских избы строились без сеней – прямо к избе шел впритык лапас, то есть крыша двора. Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это:

– Акулька, что там булькает?

– Сивый мерин в квашню с... (многозначие означает непечатное слово).

А прудковских, например, прозывали козозвонами. У энтих коза в набат ударила...

Паслась она в церковной ограде. А веревка с пожарного колокола свисала очень низко и привязывалась к березе. Кто увидит пожар – подходи и дергай за веревку, звони – собирай народ. Ну, коза рогом и зацепилась за веревку... Дернула головой – «Дон!»! Она в сторону – опять: «Дон!»! Она с перепугу метаться, – то туда, то сюда... а на колокольне: «Дон! Дон! Дон!»! Набат! Все село и сбегалось на потеху... С тех пор их и прозвали козозвонами. Оно прозвище-то вроде бы и случайное, а причинность все ж таки имеет. Народ прудковский непутевый, пустозвонный...

А почему нас прозвали «каменными сдобами»? Раньше у нас на базаре тихановские торговали черепенниками, а наши, брёховские, пышками да самодельными пряниками. Вот они-то и назывались сдобами.

– Черепенники с пылу, с жару! Ай, черепенники! – кричали тихановские.

А наши, брёховские, им вперебой:

– Сдобы, сдобы! Купи сдобы!..

Какой-то озорник купил одну сдобу, будто зубами ее не раскусил. Зашел он сзади да как шарахнет по спине торговку этой сдобой. Она еле дух перевела:

– Ой! Явол! Кой-то мне по спине каменной заехал. Чуть ребро не перешиб.

– Это не каменной, а твоей сдобой...

С тех пор и прозвали нас «каменными сдобами».

Но это все приметы старого прошлого. А таперика мы имеем самодельный хор и частушки собственного производства. На районном смотре так и объявляют:

– Выступает Брёховский хор со своими частушками. Музыка Глуховой, слова Хамова (это наши сочинители).

Колхоз у нас хороший. Петр Ермолаевич Звонарев, последний председатель, авторитетом пользуется, – народный депутат, Герой Социалистического Труда. А первый председатель нашего колхоза Филипп Самоченков работает таперика у меня, то есть конюхом при школе. Я тоже был в свое время председателем, но об этом расскажу потом.

А народ у нас трудовой, артельный. Работает дружно. Но уж коли кто сопрет бочку или, допустим, фару отломает на комбайне из озорства – убей не попытайся. Корабишинские, те наоборот – один цыпленка украдет на курятнике, а пятеро донесут на него. И, между прочим, воруют у них поболее нашего. А у нас с доносчиками строго поступают, – на сенокосе надевают котел на голову и бьют в него палками, пока тот не оглохнет. Мы, говорят, народ музыкальный. Пусть запомнит нашу музыку. Озорники! Недаром у нас каждый на селе прозвище имеет. А Иван Косой даже стих про это написал. Еще в двадцать девятом году на сходе в бывшем трактире огласил:

– А таперика я вам, – говорит, – проповедь прочту.

И пошел... подряд по всему селу:

– Клеца Дранкин, Пихтиряй Назаркин, Кабан Луговой, Карась Большой, Михаил Тырчек, Тимофей Сверчек, Алексей Кривой и Андрей Простой... так и далее.

«Простой» – это не фамилия, а прозвище. Так зовут у нас всех дурачков. Кстати, Андрюша Простой, по фамилии Гвоздилов, недавно погиб при следующих обстоятельствах: шел он из Мыса Доброй Надежды (это название одного из наших сел), крепко набравшись. Там был козырный праздник Ильин день, по-старому Престол. Андрюша знал наперечет, в каком селе какой престольный праздник. И уж обязательно посетит.

Значит, посетил он... напился. Надавали ему кусков: одна сума у него спереди висит, это для кусков пирога, другая – сзади, та для хлеба. Идет он, бывало, с праздника враскачку, – какая сума перетянет, туда и упадет. Или на спину опрокинется, или носом запашет. Тут же и заснет, прямо на дороге. Шел он, значит, на Ильин день и заснул на дороге.

А в этот самый час, под вечер, ехал Васька Бондарь в Свистуново на тракторе за водкой. У них, в Корабишине, магазин не работал. А был он тоже выпимши. И черт его понес на обочину...

На суде он говорил: по траве вроде бы помягче ехать.

– Едем мы, – говорит, – с Иваном выпимши. Вдруг – стук! Тряхнуло вроде нас... Что такое? Иль на бревно наехали? Посмотрели – а это, оказывается, Андрюша... Ну и переехали его.

Извиняюсь, я отошел в сторону. Значит, я сказал, что каждый у нас на селе прозвище имеет. И все с умыслом. Дранкиным дали, к примеру, прозвище – «клещи». За жадность и

скупердяйство. Мишка Тырчек и Тимошка Сверчек – эти еще по комсомолу отличились. Моими секретарями были. Бывало, вызовет нас Филипп Самоченков и скажет: «А ну, комса, давай на боевое задание...» Мы и даем.

Да, пишу я эти строки, а сам думаю: приказал бы таперика Самоченков Тырчку да Сверчку. Тырчек целой областью заворачивает, а Сверчек по торговле большой начальник. За границей бывает и по месяцу там живет и более. Вот тебе и комса! Комса – по-старому значит – комсомольцы. И вот что поразительно – способности к загранице у Тимофея выявились еще в те годы. Все он книжки иностранные читал и песни пел заграничные: «Плыви, моя гондола, озарена луной. Раздайся бар каролы над сонною волной...»

Гондола – это лодка по-итальянски, а «бар каролы» – это по-русски значит – «звон гитары раздавайся». Я думаю: таперика вы и сами догадались – карола это есть гитара.

Между прочим, мое прозвище на селе было Дюдюн.

Про самого себя

Сел я про самого себя сочинять и задумался... До чего же моя жизнь удивительная! Вот я все над своей Маруськой смеюсь – темнота! А сам-то я каким был? Таперика я – персональный пенсионер, иногда парторга замещаю. Людей уму-разуму учу, сочиняю. А раньше? Верите или нет – до двадцати лет ни разу в городе не был. Железной дороги не видал. Да что город? Часов настоящих и то не видел. Ну смотрел на ходики в сельсовете. Дак там все просто: время подойдет – выглянет кукушка и прокукует, сколько часов. Только считай. А вот настоящих часов, с римскими цифрами не видел. И читать по ним не умел.

Иным хоть на раскулачивании повезло – и на часы насмотрелись, и кольца золотые видели. А нам кулаки захудалые попались: псаломщик, да Васютка Мокрая, родственница барина Корнеева, да мельник Галактионов. У псаломщика в избе хоть шаром покати – один самовар отобрали. Пока несли, – у него дудка отвалилась. У Васютки Мокрой отобрали три корзины рюмок разноцветных да тарелок. А часы, говорит, в починку свезла, в Пугасово. У мельника не токмо что часов, порток крепких не было. Скотины полон двор да одиннадцать человек детворы. Они стаканы и те пококали – одни кружки жестяные...

Так и не увидел я часов до самой армии. Из-за этого со мной очень забавная история приключилась. Я вам расскажу ее, а вы сами судите – кем я был и кем стал. Но для соблюдения формы сперва напишу свою автобиографию, то есть кто такие мать и отец.

Зовут меня Петром Афанасиевичем Булкиным. В моей служебной автобиографии записано, что я сын пострадавшего, убитого контрреволюционерами в 1919 году.

Сказать по правде, Булкин Афанасий не отец мне, а отчим. И никакой он не пострадавший. Нанялись они с приятелем гнать скот из Касимова в Пугасово. В дороге бутылку череп сшибли купцу. Взяли деньги, наган. Но их разоблачили и отправили в ссылку на бессрочную каторгу. Мать вышла замуж за другого и против закона прижила с ним меня и брата моего Леванида. Таперика, моего отца взяли на германскую войну, и там он пропал без вести. А после революции возвратился Булкин Афанасий, забрал жену с обоими детьми. Озоровать начал – пил да насильничал. Его и кокнули... Время было неспокойное, поди разберись – кто?

Остались мы одни с матерью, – хата в три окна да лошаденка. Я в работники пошел, пас коней, а брат мой Леванид – баранов.

Писать про эту жизнь неинтересно: материал бедный. Потом вступил в комсомол, стал активность проявлять: неграмотность ликвидировал свою и чужую... И вот, за эту активность, взяли меня в Красную Армию. А председатель Бреховского колхоза Филипп Самоченков выдал мне по такому случаю премию: десять холстин, пять полотенцев с петухами да три разноцветных поневы.

Ну вот, гонят нас в Пугасово, на станцию. А я все думаю: «Что же есть такое железная дорога? Это, должно быть, жестью все устла но. Едешь по ней, а грязи нет». Пригнали нас на станцию – нет никакой жести. Смотрю я – что-то ползет к нам. Ящики не ящики, и на телегу не похожи. Но на колесах... Останавливается перед нами – двери настезь.

– Погружайся! – кричат.

А это, оказывается, товарняк. Залезли мы – и опять вроде бы поезда нет никакого. А что-то на избу похоже: полаты, скамейки. Мы залезли на полаты, расположились... и уснули.

Просыпаемся ночью. Что такое? Перекидывает нас с боку на бок, как на ухабах. Все скрипит, грохочет... Кто-то как заорет:

– Едем! Едем!!!

Мы к окну. Поглядели – дорога узкая, а рядом глубокий ров. И всем боязно стало: а ну-ка да опрокинет?

Но ничего... Доехали благополучно. Куда-то за Киев увезли нас. На киевском вокзале мне еще показали на часы:

– Смотри, Петро, какие часы! Стрелка за штаны заденет – повиснешь.

Я смотрел, смотрел и ничего не понял. Какие-то палки по кругу раскиданы, да две больших стрелки посредине.

Ну, ладно. Приняли меня в кавалерийскую школу. Получил коня... И вот надо же такому случиться – экземой заболел, и место самое неподходящее, в промежности, извиняюсь.

Пришел я в лазарет, а лепком смотрит эдак подозрительно и спрашивает:

– Ты что, за кобылой, что ли, ухаживаешь?

– Нет, – отвечаю, – у меня конь.

– Ко-онь! – передразнил он меня. – Ах ты поросенок паршивый.

Сел за стол, записал чего-то в книгу и говорит мне:

– Тебе, голубчик, в госпиталь надо ехать, в Днепропетровск. Приедешь на вокзал, там спросишь трамвай номер четыре. Он тебя довезет прямо до госпиталя. Вот тебе пяточок на трамвай.

Сижу я на политзанятиях и думаю: «Ну, как я поеду? А вдруг меня там посадят, как заразного?..»

Название болезни я не мог никак запомнить. «Ежели меня так далеко отсылают, – думаю, – значит, зараза опасная. У нас в Брёхове однажды застрелили лошадь с сибирской язвой и закопали за селом. А что, ежели у меня такая страшная болезнь?..»

Вдруг приходит в класс посыльный и кричит:

– Булкин!

– Ен самый...

– Надо отвечать – «Я»! В штаб вызывают.

И повел меня впереди, как под конвоем. Что делать? Надо идти. Иду и думаю: «За что?»

Входим в какой-то кирпичный дом. Он открывает дверь и в кабинет меня швырь. Осмотрелся я – нет ни решеток, ни охраны с винтовками. Сидит за столом молоденький красноармеец и спрашивает, эдак улыбаясь:

– Вам чего, товарищ красноармеец?

– Не знаю. Меня привели сюда.

– Как ваша фамилия?

– Булкин.

– А-а! Вот ваши документы. Получайте и езжайте в Днепропетровск.

– А кто охранять меня будет?

– Один поедете.

Ну, значит, не страшно. Зараза невелика.

Дал он мне целую пачку всяких бумажек и говорит:

– Запомните, поезд отходит сегодня, в двенадцать часов ночи. Вот билет.

Я поужинал. Хлеб и сахар завязал в узелок, да в карман. И пошел на вокзал. «Ну, когда, – думаю, – будут они, эти двенадцать часов?» Пришел на вокзал – стемнелось. Спрашиваю дежурного:

– Сколько времени?

– А вон часы.

Он показал на стенные часы. Смотрю – такие же, как и на киевском вокзале, – круглые, только палочки и стрелки поменьше. Потоптался я возле них, поморгал глазами – и пошел на перрон. Там стоял какой-то поезд. Думаю, спросить надо – куда идет. Забыл название города, в который мне ехать. Выну командировку, подойду к фонарю, прочту – Днепропетровск. От фонаря отойду – опять позабуду. Ладно, вошел в вагон. Он и поехал... Смотрю я – темно, и ни одного человека. Куда едем?.. Прошел в другой вагон – никого. В третий – пусто. Что такое? Неужели меня одного везут?

Идет вожатая с фонарем, я к ней:

– Гражданочка, скажите, куда я еду?

– А вам куда надо?

– Не знаю.

– Как не знаешь?! – Она посветила мне в лицо и эдак строго: – Билет есть?

– Тут он, в кармане... Да в темноте не видно.

Ну, прочла она и говорит:

– Правильно, в Днепропетровск. Только в Хмельнице пересадка будет. Смотри мимо не прокати.

Доехали до Хмельницка. Слез, спрашиваю:

– Когда поезд на Днепропетровск?

– В девять часов.

Подошел к часам, смотрю и думаю: «Ну, когда они будут, эти девять часов?» Тут, спасибо, муж с женой оказались. Такие вежливые, и все промеж себя: «Ту-ту-ту...» Я их спрашиваю:

– Когда поезд на Днепропетровск?

– В девять часов.

– Это я знаю, но когда?

Они переглянулись и с опаской чуть отступили от меня.

– А вы кто такой? Чей будете?

– Я бреховский.

Они опять переглянулись.

– Куда же вы едете?

– В Днепропетровск.

– Как же вы без продуктов едете?

– Да у меня есть... Вот! – Я вынул из кармана узелок с хлебом-сахаром и показал им.

Они засмеялись.

– А сколько времени тебе ехать, ты знаешь?

– Нет.

– Двое суток.

– Ох, беда! – я только головой покачал.

– А деньги есть у тебя? Документы?

– Денег только пятак. А документы есть.

Я протянул им все свои бумажки. Они прочли и говорят:

– Голова, у тебя же здесь и аттестат продовольственный. На два дня продукты выписаны. Надо было получить.

– Где?

– На складе.

– Ох, беда!

Ну что делать! Дали они мне хлебца да селедочки. Сахарок вынул. Поел я, попил чайку, залез на верхнюю полку в вагоне и двое суток проспал.

Просыпаюсь – смотрю в окно: станция Днепре. Ого, это ж моя остановка! Вскочил я, натянул сапоги и выбежал из вагона. На станции вынул из кармана свое командировочное, читаю: «Днепропетровск». Вроде бы не соответствует. Спрашиваю дежурного в красной фуражке:

– Днепре значит по-русски Днепропетровск, что ли?

– Нет. Днепропетровск на том берегу реки.

Я глядь – а поезд уже тронулся. Я бежать... Еле догнал последний вагон. Прыгнул, да нога сорвалась. Чуть под поезд не угодил.

Ну, ладно. Таперика, приехал я в Днепропетровск вечером. Вокзал высокий да красивый – век такого не видывал. А на часах под цифрами всякие зверюшки бронзовые блестят. Стою, смотрю. Кто-то сзади спросил:

– Чего засмотрелся? Сыграть хочешь?

Оборачиваюсь – парень. Кепчонка на затылке, папироска в зубах. Веселый да приветливый. Ну, прямо как из той песни: «покоритель сердец чернобровый красавец Андрюшка...», в которого влюбилась Катя-пастушка.

– Часы, – говорю, – интересные.

– А ты что, под часами свидание назначил?

– Я приезжий. Мне в госпиталь надо. В восемь часов утра.

– Ну и что?

– Да вот хочу отгадать – под какими зверюшками будут стрелки, когда мне идти надо.

– Ваня, милый! Ты по часам не понимаешь? – засмеялся парень. Хотя и стыдно мне было, но я все же признался.

– Только я не Ваня, а Петя.

– Это ничего! – он меня хлопнул по плечу. – А когда тебе надо идти?

– В восемь часов утра.

– Ну, я тебе подскажу завтра. Откуда ты?

Я рассказал. Он все восторгался:

– Какая у тебя форма красивая!.. Особенно фуражка... И шинель по фасону. Эх, мне бы поступить в Красную Армию, да не знаю, как это делается.

– Очень просто, – говорю, – подавай заявление, и тебя примут. Ты сын трудового народа?

– Само собой, потомственный пролетарий.

И так мы с ним разговорились... Просто друзьями стали. Лег я спать на скамью – он меня еще шинелью накрыл.

– Спи, – говорит, – когда надо, разбужу.

Проснулся я – светло, утро. Смотрю – дружка моего нигде нет. И ни шинели на мне, ни фуражки. Туда-сюда бегаю, спрашиваю. Нет нигде...

– А сколько времени?

– Семь часов, – ответил дежурный.

Брат родной! Надо в госпиталь. Вышел я на площадь – и четвертый номер трамвая как раз стоит. Ну и хорошо! Вспомнил я, что лепком наказывал: садись, трамвай довезет тебя прямо до госпиталя.

Ехал я ехал в этом трамвае, все жду, когда остановится он окончательно и госпиталь будет. Но он все идет да идет: народ кто сходит, кто входит. А я все сижу да сижу. Смотрю в окошко: эге, опять вокзал! Тут ко мне подходит вагоновожатая и спрашивает:

– Красноармеец, тебе куда надо?

– В госпиталь.

– Так что ж вы мне не сказали? Я бы вас высадила где нужно.

Ну ладно. Нашел я этот госпиталь. Подхожу – ворота, за воротами будка. Смотрю – звонок, кнопочка белая. Ну кто меня учил, где я слышал до этого, что надо нажимать на кнопку? Таперика я вам сказать не могу. Только тогда я нажал на кнопку. Жму – никто не выходит. Опять нажму... Тишина.

Что такое? Заглянул я за ворота – оказывается, будка пустая и даже разваленная сзади. Брат родной!..

Подхожу к большим дверям. Там опять кнопка от звонка. Нажал я – слышу, бегут сверху. Только гул от ступеней. Появляется дежурный в военной форме:

– Тебе кого?

– Мне в госпиталь.

– Приемный покой с той стороны, – он махнул рукой.

Пошел я на ту сторону. Смотрю – дверь открыта и ступеньки ведут куда-то вниз. Шел я по ним, шел. Открываю еще одну дверь. Что такое? Днем электрический свет горит. Печь огромная топится, жаром от нее так и пышет. А передо мной чумахая харя – только одни зубы видны.

– Тебе чего? – спрашивает.

– Да мне в госпиталь на лечение...

– Ложись вон туда, – кивает он на кучу угля, – я те лопатой вылечу.

– Тыфу ты, напастье!..

Поднялся я наверх из этого ада, сел у порога на корточки и сижу. Думаю: провались ты все пропадом. Дальше никуда не пойду. Вдруг сестра выходит:

– Вы куда? Встал, доложил.

– А что у тебя за болезнь?

Я замялся... позабыл опять:

– Какой-то вроде бы назем.

Она засмеялась:

– Эх ты, назем! Давай документы – разберемся.

Полез я в брючный карман, а там ни документов, ни пяточка. Обчистил меня тот друг на вокзале... Пришлось мою часть запрашивать. Мороки было... И все из-за часов получилось.

Тут может возникнуть вопрос: как же так, лепком дал мне пяточок на трамвай, а я вспомнил об нем только в госпитале? Признаюсь чистосердечно – позабыл купить билет.

Вот и судите таперика, кем я был. Между прочим, через два года я как школу окончил, меня наградили именными часами за джигитовку. В тую пору я солнце на турнике крутил. На окружающих смотрах меня показывали. Сказано: терпение и труд все перетрут.

Про Манолиса Глезоса

Тут кстати сделать отступ от истории. Вчера у нас было колхозное собрание об оказании поддержки Манолису Глезосу. И что же выяснилось? Некоторые колхозники далеко еще не понимают разницы между положением международным и чисто внутренним. Так что нам рано почивать на лаврах и ослаблять идейно-воспитательную работу. Потому что трубадуры мирового империализма не дремлют.

Сидим, таперика, мы в клубе, проводим колхозное собрание в поддержку Манолиса Глезоса. Я доклад делаю (парторг товарищ Голованчиков в Москву уехал за паклей – теще дом строит), а Петя Долгий все какие-то бумажки пишет. Хотя он и хорошим председателем числится, а привычки руководящей так и не выработал. Ну сами посудите, – на сцене сидим, стол

красным материалом покрыт, а он свиные кормушки считает (это я потом поглядел) – сколько давать сенной муки, куда свиной ставить, куда поросят...

– Товарищи! – говорю я. – Разбойничья политика мирового империализма под руководством Соединенных Штатов, то есть Америки, повсюду дает себя знать. Им мало того, что горят от напалма, иными словами от бомбежек, вьетнамские города и деревни, им мало крови патриота черной Африки Патриса Лумумбы... Таперика они добираются и до Манолиса Глезоса. Таперика им подавай и Грецию...

Ну, шире – дале.

Кончил я доклад, а Петя Долгий оторвался от своих кормушек и спрашивает:

– Вопросы имеются?

– Есть вопрос! – встал плотник Федулеев Макар. – Я вот насчет карнизов и флинтусов. Надо все ж таки разобраться. Будет решение или нет?

Я ему со всей строгостью:

– Товарищ Федулеев, мы тут вопрос решаем, а вы с карнизами и флинтусами...

– Дак что ж, карнизы не нужны, что ли? Без них тоже дом не стоит.

– Это понятно. Но мы сейчас собрались о Манолисе Глезосе поговорить.

– Да вы ж его знаете, а мы нет. Зачем тогда нас пригласили сюда?

– А затем и пригласили, чтобы решить – выступим со всей определенностью в защиту Манолиса Глезоса.

Тогда крикнул кто-то из зала:

– Это мы решили уже в докладе. Теперь давайте насчет карнизов решим!

Я повернулся к председателю вроде бы за поддержкой. А он прикрылся бумажным листком и прыскает в него. Я его решил перед людьми вывести и говорю:

– Смешного тут ничего нет. Слово имеет председатель товарищ Звонарев.

А он убрал листок из-под носа и как ни в чем не бывало сказал:

– Ну что ж, товарищи, давайте решим насчет карнизов. Кто хочет сказать?

Встал тот же Федулеев и пошел:

– Что ж у нас получается? И за карнизы и за флинтуса платят одинаково. Но ты прибай сначала карниз, а потом бай флинтус. Карниз, он наверху. Во-первых, подставку надо какую ни на есть – или бочку, к примеру, или ящик какой-нибудь. Залезь на него да бороду кверху тяни. А байешь – потом ишшо перестановку этой самой бочки сделай. Да со стороны погляди – не косо ли? А теперь возьмем флинтус. На колено припал, стукнул молотком – и вся недолга. Потому как он внизу. Дак разве ж можно все равнять? Так нельзя. Это дело решить надо.

Федулеев сел, а я сказал:

– Хорошо, решим на общем собрании в другой раз.

– Нет, давай сейчас! – закричали из зала.

Тут поднялся Петя Долгий и сказал:

– За карнизы будем платить вдвое больше. Согласны?

– Согласны! – весь зал проголосовал.

Я опять говорю:

– Товарищи, у кого есть слово про Манолиса Глезоса?

– У меня имеется, – встал Якуша Воробьев. – Я, товарищи колхозники, предлагаю поддержать Манолиса Глезоса. Потому как я сам сидел – знаю, каково там. И ежели можно сократить ему срок, давайте попросим. Отчего ж не попросить?

Я что предлагаю – пусть мои два пуда пшеницы, которые я в прошлом году внес на помощь Вьетнаму, перешлют Манолису Глезосу. А то ведь их во Вьетнам так и не отправили. Чего они в колхозной кладовой валяются?

Тут встала Маришка Дранкина, наша кладовщица, и задала ему вопрос:

– Дак ты же их забрал в прошлом году!

– Это когда я их забирал? Когда?
– Вот тебе и раз! А кто их за помол Галактионову отдал? Кто?
– Я их отдавал?
– Но ты же велел отдать Галактионову!
– За помол?
– Да, за помол.
– Да как он помолел? Разве ж это помолел? Изжевал и плюнул. За такой помол с него еще взять надо, а не ему платить...

Все засмеялись. А я постучал о графин карандашом и строго сказал:

– Товарищи, мы должны говорить на политическую тему, насчет соблюдения прав и Конституции. Про закон! Вот об этом кто хочет – пожалуйста...

Встал Иван Дранкин, Маришкин тесть:

– Вы вот что скажите, закон у нас будет или нет?
– Какой закон?
– Известно какой... насчет скотины.
– Ну, при чем тут скотина?
– Как это при чем? Вчера корова Шабыкина зашла ко мне на двор и два центнера картошки съела.
– Не ври! Два центнера не съест – лопнет! – крикнул кто-то из зала.
– Дак в том-то и дело, что слодала. Бока во как разнесло. – Дранкин показал руками. – Прямо бочка.

– А что ты с ней исделал? – крикнул Шабыкин.
– Я взял да и пырнул ее в это самое обжорство... В бок то есть...
– Прошу записать это показание! – крикнул опять Шабыкин.
– А ты погоди! Отвечать за свою корову сам станешь, – обернулся к нему Дранкин, и потом – снова в президиум: – Дак что ж получилось? Шабыкин забрал мою корову и не отдает. Вот я и спрашиваю: закон у нас будет или нет?

Я обернулся к Пете Долгому, а он опять в бумаги прыскает. Молодой, опыта воспитательной работы у него нет. Ведет себя, как в школе, когда ученик чепуху несет. А тут еще встает кладовщица Маришка Дранкина и про свое:

– А с семенами когда решат? У нас они, что рожь, что пшеница, что ячмень, – все заодно числятся.

– Товарищи, это ж вопросы чисто внутреннего противоречия. А мы решаем в международном плане. Понимать же надо...

И тут, скажу вам, мое замечание так сильно подействовало, что даже все Дранкины замолчали. А я еще добил Маришку:

– Сядь! Не до семян. Давайте сначала с политикой разберемся. Выполним указание районного комитета.

Проголосовали мы. Приняли резолюцию в поддержку Манолиса Глезоса, а я про себя подумал и решил: «Непременно надо съездить до районного комитету и попросить, чтобы у нас прочли лекцию о разнице внутренних противоречий и международных. Или хотя бы мне поручили доклад сделать. Нельзя ослаблять воспитательную работу с массами».

Филипп Самоченков – первый бреховский председатель

Описание жителей начну с Филиппа Самоченкова, – во-первых, он живет с краю, во-вторых, он был первым председателем колхоза. И наружность у него занимательная: худой, погибистый, с наклоном вперед, вроде бы кто его в спину толкает. И ходит с наклоном, ногами семенит, словно гонится за кем. Окликнешь его – он ответит, но остановится не сразу, пробе-

жит еще несколько шагов, потом уж свернет к тебе. Будто бы пружина в нем какая работает; заведет ее и мчится напрямиком. Оттого он, видать, и худой всю жизнь. А должности занимал хорошие. Другой бы на его месте и живот нажил бы и заговор. Филипп же тощ, как уклейка по весне. Не знаю, на чем и штаны у него держатся. Всея и славы – один нос большой, хоть локтем меряй.

Поскольку Филипп личность историческая, не могу не сказать еще несколько слов про историю. Раньше вся история строилась на классовой борьбе. А таперика нам говорят: нет ни классов, ни врагов народа. Но, во-первых, куда же они все подевались? А во-вторых, если нет ни классов, ни врагов народа, то, значит, нет и борьбы. На чем же тогда строится история? Вот вам вопрос-закорюка. Ведь не станете же вы отрицать историю, товарищи примиренцы.

А между прочим, чего это я за других беспокоюсь. Мне историю есть на чем писать. Борьбы на моем веку было хоть отбавляй.

Начал я вот писать про Филиппа Самоченкова и задумался: почему меня народ любит, а его нет? И знаете что я вам отвечу: Филипп Самоченков имел в руководящей работе азарт, или, как говорят у нас в Брехове, – зарасть; он все любил доводить до точки, а я всегда запятую ставил – и сам прохлаждался, и другим передохнуть давал. И пил он как бы с остервенением, будто не водку давил, а врага народа. Оттого и вся жизнь у него скособочилась. А мне много пить нельзя. Потому как выражение лица у меня меняется, перед подчиненными неудобно. Хотя при случае, конечно, я могу в этом деле потягаться и с самим Филиппом Самоченковым.

В лесном селе Корабишине начали раскулачивать на год раньше, то есть в одна тысяча девятьсот двадцать восьмом году. Скорее всего за укрывательство хлеба, излишков то есть, всех бывших кулаков выслали на лесозаготовки. Дак ведь вот какой народ, – они и там за два-три года разбогатели. Их, значит, опролетаризировали, сняли с них запрет. Они и зажили опять по-богатому. Пришлось их вторично искоренять. Осталось от них в двадцать восьмом году много скота. Время было летнее. Куда его девать? Вот и решили создать в Корабишине коммуну, и весь кулацкий скот ей передали. А председателем послали туда Филиппа Самоченкова.

Тут и развернулся наш Филипп. Первым делом, говорит, надо накормить коммунаров. И лозунг выкинул: «Ешь от пуза». Потому как сытый человек команду лучше слушает. И в работе он усерднее. А от голодного одна злоба да грызня. Ну, ладно. Стали есть коммунары вволю и на работу весело пошли – столовую построили, силосную башню. Но на беду Самоченкова от кулаков осталось много ульев. И не успел он толком оглядеться, как мед растащили на медовуху да самогон. И такая пьянь пошла, такое воровство, что просто невозможно. Тащили улья, поросят, овец, свиней и даже до коров дошли. Всю зиму охотился Самоченков на воров. Однажды напал на компанию – сидят ночью на кулацкой заимке, пьют и песни играют. Он было к ним, – один из тех вылетел на коне из заплота да на Филиппа. «Стопчу, паразит!» Филипп и ахнул из ружья. Тот упал. Раненый... Пасечник оказался.

И перекинули Филиппа обратно в Брехово. Тут и у нас назревали события – кого надо раскулачить, кого выслать. Одним словом, черновая работа по строительству фундамента нового общества. Самоченков хорошо старался – задание сверху выполнял до конца. Даже псаломщика раскулачил. Отобрали мы у того служителя культа, как я уже писал, самовар без дудки, а у волгарей-отходников – по мешку вяленой воблы и по ведру селедки.

Он же и церковь нашу ликвидировал. Создали колхоз, – хватились свинарник строить – кирпича нет. Тут Самоченков и говорит: «А церковь на что стоит? Давайте ее ликвидируем, а из кирпича свинарник построим». Дак его поп на церковной площади проклял. «Кто, – говорит, – из церкви свинарник сделает, того бог в свинью превратит». Попа самого ликвидировали, а Самоченкова судили за перегиб. Вызвали на суд человек тридцать – все свидетели. Тут и псаломщик был, и волгари-отходники, и Васютка Мокрая... Тот кричит – лошадь отобрали, тот – корову, этот – заем силком навязали. Заклевали Филиппа. Судья спрашивает его:

– С какой целью ты это делал, Филипп Самоченков?

– Гражданин судья, – отвечает Филипп, – хотите верьте, хотите нет, но делал я это без цели. Одно мое усердие, и больше ничего...

Дали ему два года по 109 статье за злоупотребления и еще два года по статье 110 за дискредитацию советской власти и отправили в Святоглебский монастырь, где сидели кулаки. Они его на первой же прогулке до полусмерти избили. Он в милицию: «Что вы делаете? Они же убьют меня до смерти...» И взяли Филиппа конюхом в милицию, а дочь его, глухая Полька, ходила к нему овес воровать. За это воровство его на лесозаготовки отправили. Но в тридцать пятом году товарищ Сталин подписал закон: которые сидят по статьям 109 и 110 – освободить.

Вернулся Филипп, реабилитировали его, а работы руководящей не дают. Он два года на салотопке отработал с Андрюшей Гвоздиковым, с тем самым, который посреди дороги уснул на Ильин день, отчего и был задавлен. И тут на счастье Филиппа в Корабишине выявился заговор – многих врагов народа посадили, в том числе и председателя колхоза. Кого взамен послать? Чистого пролетария в районе не было. Кто из беднейшего слоя крестьян отвечал в тот исторический момент всем требованиям текущей политики? Тот, кто проявил свое усердие по искоренению. Вспомнили опять про Филиппа Самоченкова. Он в ту пору жил на краю Брёхова в своей двухоконной избенке и, кроме Польки глухой да пестрого кобелька Марсика, так ничего и не нашёл. И послали его обратно в Корабишино, председателем колхоза...

Как он там руководил, я не знаю. Только после войны его сняли за полный развал и из партии исключили. Вернулся он в Брёхово, отодрал забитые окна, вселил в свою избенку Польку глухую, а сам подался в касимовские каменоломни, подальше от стыда и с глаз долой...

Но камень долбить – не в салотопке работать. Надоело ему с непривычки. Зашел в исполком разведать насчет низовой руководящей. «Виноват, – говорит, – во всем виноват я сам». – «В чем?» – «Да в том, что из партии меня исключили, в Корабишине». – «А их решение не утвердили». – «Что ж мне теперь делать?» – «Поезжай в Брёхово заместителем председателя колхоза». Приехал. А председатель взял да помер и оставил весь колхоз опять на Филиппа Самоченкова. Время было такое, что с колхоза все требовалось: и зерно, и лес, и тягло. Только поспевай поставлять. По части поставок Филипп Самоченков даже в передовые вышел. Выйти-то вышел, а удержаться не смог. Резервы иссякли... Тут его опять начали молотить: склоняли, как вредителя сняли, судить хотели...

Прислали меня на его место. Приехал со мной секретарь райкома. Уж он его ругал, ругал – до самого утра: «Ну, что с тобой делать?» – «Ваше слово – закон», – отвечает Филипп. «Ладно, отдам тебя в райисполком. Устраивайся как хочешь». – «Нет уж, – отвечает Самоченков, – никуда я больше не пойду. А то меня райисполком в милицию передаст. Однажды я уж там побывал...»

Так и остался в Брёхове, конюхом при школе. Занял я его место председателя и думаю: «Дай-ка посмотрю его дела – уясню, в чем тут собака зарыта». У меня правило такое – если хочешь разобраться в человеке, посмотри его анкету, ибо сказано: анкета – зеркало души нашей. А ежели еще и протоколы от тебя остались, весь твой опыт перейдет в потомство, в историю то есть. Таперика говорят: слово не воробей – вылетит, не поймаешь. А зачем его ловить?

Ты его лучше внеси в протокол, да в дело подшей, да в сейф упрячь, и никуда оно не денется.

Стал я читать протоколы Самоченкова, папку заявлений, резолюций его – и все сразу понял: Филипп не хозяйственник, он был руководителем чистой воды. То есть в любом деле он прежде всего держал руководящую линию. Идею! Держался, как говорится, на одном энтузиазме.

К примеру, приведу один протокол заседания колхозного правления.

Повестка дня: Выполнение плана уборочной кампании.

По первому вопросу выступили:

тов. Глухов Н. (бригадир первой бригады), который доложил – ход сеноуборки идет очень медленно. Во-первых, колхозники разъехались по домам; во-вторых, сенокосилки поломались. И нет запчастей. Хлеб жнут и не молотят, потому что – сырой.

тов. Свиненков (бригадир второй бригады) сказал – сено сейчас не косим, потому что поломался трактор и запчастей нет. Ржи сжали очень мало, потому как сорная – комбайн забивает.

тов. Дементьев Н. (бригадир третьей бригады): сеноуборка идет очень медленно, потому что плохой выход на работу. Окромя того еще люди не идут в подчинение. Хлеб не молотим – молотилка поломалась и потому что сырой. А на тракторе пальцы посыпались и нет запасных.

Выступили:

тов. Самоченков (председатель). Товарищи, разве колхозники не знают, что мы должны получить хлеб на трудодни? А почему же хлеб не молотим? Это же наш хлеб. Неужели еще не дошло до сознания колхозников, что мы должны добиться культурной и зажиточной жизни? Взять, товарищи, такой вопрос... Есть колхозники, которые не имеют ни одного грамма хлеба и сидят, не работают. Эти люди ничего не понимают и стоят только за свою собственность, а за общественность не борются. Товарищи, таких людей надо критиковать и лишать их сена и тягла. А ведь я, товарищи, всем бригадирам задание выдал. И что же?

Возьмем бригадира Дементьева, – не жнет, не косит, а лошадь в разъезде – все на пасеке, где заведена агульная пьянка. А Дементьев вместо того, чтобы накосить и заскирдовать, дает дутые сводки, чем самым обманывает общественное животноводство колхоза и в целом государство. И хуже того – заскирдованный хлеб не проверяет, может, его весь скоту стравили.

Что же имеется на сегодняшний день? План сеноуборки провалили и по хлебу тоже. А причина провала зависит только от руководителей. Где трудовая дисциплина в бригаде Дементьева? Нет ее. Взять также руководителей Глухова и Свиненкова. Они только подставляют в руководстве правлению ногу и занимаются пьянкой. Я считаю, что правление колхоза сегодня вынесет конкретные решения таким безответственным лицам.

Постановили:

Бригадиров тт. Глухова, Свиненкова и Дементьева предупредить».

Как видим из этого протокола, Филипп не разбирал, почему хлеб сырой или там комбайн поломан? Весь упор он делал на сознательность, на горячее руководящее слово. Хорошо умел говорить Самоченков, ничего не скажешь. Но гибкости у него не хватало. Посудите сами. Вот заявление от Сысоева Петра Семеновича:

«Прошу рассмотреть мое заявление в том, что я по болезни заколол свою корову. Выдайте мне стельную телку за мясо...»

Резолюция Самоченкова: «Просьбу отказать».

«Прошу разобрать мое заявление в том, что мой муж взят в ФЗО, а я осталась ни при чем. Я хочу ехать к нему, и он хочет. Прошу отпустить из колхоза. К сему Сморгкова Клавдия».

«Просьбу отказать».

«У меня есть три несделанных овчины. Прошу исделать их. Хамов».

«Дать взамен две овчины из брака. Самоченков».

«Прошу освободить меня от работы счетоводом ввиду моей малограмотности и моего здоровья, а именно – плохого зрения и внутренней болезни. Н. Сморгчов».

«Просьбу отказать. Самоченков».

«Прошу правление колхоза “Восход” разобрать мое заявление, отпустить меня из колхоза, как зашел я добровольно и выхожу добровольно. Я теперь живу в деревне Сшибы-Колпачек и имею семейное положение. К сему Дементьев В.»

«Просьбу отказать».

Насчет резолюции вы можете подумать, будто бы Филипп Самоченков человек бесчувственный и якобы ему никого не жаль. Это неправильно. Секрет в том, что он выбрал просто линию такую, направление то есть – держать на отказ, и больше ничего. А может, ему установка такая была спущена и он жал до нового поворота. В том, что Филипп Самоченков человек был не злой, можете убедиться из книги колхозных актов. Приведу, к примеру, несколько актов сряду, чтобы не подумали – нарочно подбираю.

«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа Мелантьев Савелий Иванович повез допризывников. Вместо того чтобы везти своих людей, он посадил чужих, а своих двух – Дементьева А. и Дементьева В. оставил дома, из-за которых пришлось гнать лошадь. В чем и составлен настоящий акт».

«Мелантьева предупредить. Самоченков».

«Акт составлен ниже в следующем, в том, что сего числа, то есть 28/11-49 г., транспортеры Черепенников Иван и Глухов Матвей, не спрашиваясь никого, пришли ночью на конный двор, запрягли лошадей и уехали себе за дровами. А корма коровам подвозить некому. Весь день коровы мычали...»

«Транспортеров предупредить. Самоченков».

Как видите, и в этих резолюциях видна линия. Из чего мы можем смело заключить – Филипп Самоченков любил направление и никогда его не менял. Но эта ошибка исходит отнюдь не из душевных качеств, потому что душевные качества подвержены всяческим колебаниям и даже изменениям. А тут линия, направление то есть, и никаких отклонений. Стало быть, у него был такой руководящий постанов. А перед руководящим постановом и наука и медицина бессильны. Потому что каким он даден человеку, таким и останется до гроба.

Как-то разговорились мы с Филиппом после уроков (он навоз вывозил со школьного двора), я его и спрашиваю:

– Ну, ты уяснил или нет, почему так медленно вел колхоз к изобилию? А он мне:

– Дак ведь по неизведанному пути шел...

И оба мы глубоко задумались.

Сколько может выпить Парамон?

Все ж таки тянуть одну историю и читать ее подряд – скучно. История, она история и есть... дело прошлое, как говорится. Поэтому ее надо с современностью увязывать. И смотреть на нее с высоты нынешнего пройденного пути, как с забора, можно сказать.

Ведь в чем ее интерес? В том, что мы идем вперед, а она как бы отдалается. Значит, изображая прошлое, подчеркни современные достижения. И более того, даже недостатки наши должны подчеркивать исторический прогресс.

Вот взять хоть пьянку. Раньше кто пил у нас в Брёхове? Мельник, потому как за помол брал батман – мукой и деньгами. А кто вне очереди хотел помолоть – поллитру ставил. Пил еще плотник Юрусов, да сапожник Митя – немой. Энти каждый день дули. Остальные выпивали только по праздникам. А таперика что? Таперика пьют, можно сказать, поголовно все. Если посмотреть на это как на мораль, то можно и осудить. А с исторической стороны ежели подойти? Это же достижение. Потому что пьют, когда есть что пить. Небось в войну не пили. И когда страну поднимали, тоже не до питья было. Не токмо что пить, на поглядку зерна-то не оставляли. Все под метелочку забирали из колхоза. Значит, пьянка – это верный признак исторического прогресса, то есть улучшения материальных условий. К примеру, приведу того же Филиппа Самоченкова. Когда он хорошо жил, тогда и пил. А таперика в рот не берет. Но однако ж тут есть и загадка человеческого характера: почему во все времена пил Парамон Дранкин? И сколько вообще он может выпить? На этот вопрос никто не ответит, даже сам Парамон.

Однажды пригласил я его к себе домой свинью зарезать. Не успели мы как следует освежевать ее, как хозяйка моя, Маруська, несет уж поллитровку.

Увидел этот снаряд Парамон и говорит, как бы с досадой:

– А-а! Ее не перепьешь...

Он закурил и размечтался.

– Мне, – говорит, – Петр Афанасиевич, есть что вспомнить: попил я вволю. И только один вопрос меня беспокоит: сколько можно выпить ее с одного захода?

– Для такого испытания случай подходящий нужен, – отвечаю. – Это все равно как петь со сцены; одно дело, когда народу полный зал, а другое – когда скамьи голые стоят. Так и тут, ежели на спор специально, много не выпьешь. А и выпьешь – впрок не пойдет. Вон Мишка Кабан выпил десять тонких стаканов, на одиннадцатом упал и хрипом изошел. А на свадьбе я, бывало, и по двенадцать стаканов выпивал. Да еще пьешь! Может, и больше выпьешь, но всегда под конец водки не хватает. Так что всему делу голова – случай.

– Да в том-то и досада, что был со мной такой случай однова. Был, да я им не попользовался. До сих пор жалею.

И Парамон рассказал мне про этот печальный случай.

– Работали мы с Сенькой Курманом заготовителями от сельпа. Дело было под праздник, накануне зимней Миколы. Снег повалил – ну ни зги не видать. А мы как раз барана купили, на заготовительный пункт везти. Но как его туда переправишь? Дорогу перемело. На лошади поедешь – с пути собьешься, замерзнешь. Это теперь машины есть, а раньше? Сидим мы под вечер в сторожке – деревянной будке, возле сельповского магазина. И баран с нами. Сидим и думаем... «Семен, – говорю. – Ведь он у нас подохнет. Или хуже того – весом скинет. Убытки понесем. Куда в такую пору за кормом итить? Давай его зарежем?» – «Давай, сейчас и до дома не дойдешь. Вон какая метет».

Пока я растапливал печку, пока за водой на реку сбегал, Семен успел разделать его.

«Гусек с потрохами бабам отдадим, – говорит он, – задок сварим, сами съедим, а передок для отчетности оставим».

Вот сидим, варим... А снег все идет и идет. Эх, теперь хотя бы поллитровку достать, думаем. Такая у нас закуска варится...

Но денег нет, да и Польша Луговая, наш продавец, в район уехала. Сидим, сочиняем – как бы водки достать. Семен говорит, если денег нет – бей на уважение. Потому как уважение человеку сделать – ничего не стоит, зато отыгрыш большой: и в долг могут поверить, и так, задарма дадут. Вот я, говорит, «Георгия» еще в тую войну получил. А сказать из-за чего? По совести признаться, исключительно за подхалимаж.

Сидим мы вот эдак, балясы точим. И вдруг как засветит нам сквозь ставни. И машина вроде бы послышалась. Выбегаем – так и есть. Машина в самые ворота уперлась. Кузов гружен

выше кабины, и одни только ящики, а сквозь щели между досками горлышки бутылочные видны. Брезент ветром сорвало и треплет, вроде портянки на веревке.

«Что за село?» – спрашивает шофер из кабины.

А я, веришь или нет, смотрю на эти ящики с вином и вроде бы замлел от переживания.

Но Сенька мой бесом вертится возле шофера: «Да не все ли тебе равно, мил человек, какое село. Дело теперь не в селе, а в тепле. Вылезай-ка, обогрейся. У нас и печурка топится, и казан кипит».

Вошли мы в сторожку. У шофера так ноздри и заиграли: «А вроде бы чем-то пахнет у вас?»

«Едой да выпивкой, – подмигивал Семен. – Откуда ты едешь?»

«Из Пугасова в Ермишь».

«А угодил в Брёхово».

«Скажи ты на милость! Ведь никуда не сворачивал. И как я здесь очутился?»

«Черти завлекли. Мы то есть», – сказал Семен. Снял он казан с бараниной да крышечкой эдак поигрывает, чтобы дух на шофера шел.

«Садись, – говорим, – с нами повечеряешь».

Тот не выдержал: «Обождите, ребята, я сейчас обернусь».

И несет поллитровку. Ну как тут верующим не сделаешься? Ведь бывает же – ты не успел как следует помечтать о ней, а она сама к тебе в руки идет. Вы скажете, колдовство? Нет, Сенькина обходительность, подхалимаж то есть, и больше ничего.

Разлили мы водку на три части. Шофер говорит: «Мне пить нельзя. Ехать надо в Ермишь».

«Да куда ты сейчас поедешь? Разве от такого добра едут», – сказал Сенька, вываливая мясо из казана.

У нашего шофера аж дух захватило. Он говорит: «По такой закуске стыдно давить одну бутылку на троих».

Пошел он, принес еще бутылочку. Мы и ту распечатали и вместо супа выпили, а мясом заедали.

«Где две, там и третья», – сказал шофер и еще бутылочку принес.

«Что ж, – говорю, – Семен, у нас получается? Водки много, а закуски нет. Давай заваривать и другую часть барана».

Сбегал я опять на реку, воды принес... Наварили мяса. Разлили и эту бутылочку, выпили.

«Что ж это у нас получается? – говорит Семен. – Водка кончилась, а закуски много».

Принес шофер еще бутылочку, распили.

«Ну, теперь, – говорит, – я поеду, ребята».

Встал он от казана и на своих ногах дошел до порога. Значит, доедет! Правда, в дверях его качнуло. Он притолоку на плече вынес и упал в снег.

«Семен, – говорю, – давай супом отливать его».

Принес Сенька кружку супу, мы ее в рот шоферу влили. Отошел. А Семен ему в руки теплый сверток мяса сует.

«На, – говорит, – в дороге собьешься, все погреешься от нечего делать».

«Ребята, – говорит шофер, – век вашей доброты не забуду. Возьмите на память ящик водки».

А я себе думаю: ну, мы возьмем, а если с тобой что случится? Люди видели, как ты заезжал. Значит, украли, скажут. А там и нас потащат. Нет, так не пойдет.

«Легко сказать – возьми, – отвечаю. – А с какой стати эдак сразу ящик водки?»

«А с той самой, что она у меня лишняя. Мне ящик на бой положено. А боя нет».

«На бой оно, конечно, положено, – думаю себе. – Но ты сел да уехал. А ежели, в случае чего, ко мне придут...»

Оно и то беда – посоветоваться не с кем. Сенька уже в сугроб запахал носом. Какой он советчик? И взяло верх надо мной сумление. Отказался я от ящика. Но два поллитра в карман сунул.

Утянул я воз брезентом, затолкал шофера в кабину. Лег он на баранку и поехал.

Берусь за Семена; трясусь, поднимаю, а он как ватный, отпущу – падает.

«Семен, – говорю, – пошли опохмеляться».

Тут он один глаз открыл:

«А не врешь? Дай пощупать?!»

Сунул я ему бутылку в руку, он ее пощупал и, веришь или нет, – сам встал! Распили мы с ним эти бутылки и тут же уснули.

И вот с той поры где бы я ни ходил, какую бы радость ни переживал, а палец у меня нет-нет да и дергает: что бы тогда было, кабы мы с Семеном энтот ящик опрокинули? И не мне бы обижаться на свою судьбу. Ведь попил... Одна в столовой четыре бутылки красного опрокинул – и чувствую: что-то ноги отяжелели.

«Что такое? С красного и каблук прилипли к полу?»

А мне приятель: «Это ж зубровка. На ней бык!»

А я черт ее знал, что она с быком. Зубровка она, зубровка и есть. Но я вот все думаю: что бы со мной тогда было, кабы мы опрокинули ящик вдвоем с Семеном?

Тут Парамон крутит головой и начинает вслух переживать досаду, выражаясь нецензурными словами. А я все думаю: вот что значит русский человек – все на свете забывает... и собственный день рождения, и когда женился, и когда ранили (Парамон два ранения имеет и контузию одну, как сказал поэт), а вот где и когда подфартило насчет выпивки – этого он по гроб жизни не забудет. Да что там говорить! Я себя возьму: самый интересный момент в моей жизни – это день, когда я выпил ящик шампанского. Но об этом в другой раз.

Как я выдвинулся

Таперика я расскажу вам про свое выдвижение, то есть как из деревенского парня сделался руководителем.

Главное, чтобы выдвинуться, надо иметь трудовую автобиографию. И характер должен соответствовать. Автобиографию мою вы все знаете, а характером я никогда не страдал. Под течение не попадал, то есть уклонистом не был. Ежели председатель колхоза выгонял на работу, я шел, не уклонялся.

Когда я возвратился из армии, у нас на коровах пахали. Кто довел колхоз до такого состояния, я уже не скажу. Или Филипп Самоченков, которого посадили, или сосланные кулаки-вредители, или голод тридцать третьего года. А может быть, и стихийное вредительство – масса тогда еще несознательной была, активность проявляла. Это сейчас никого не раскачаешь: оставь скирду хлеба посреди поля – сгниет, никто и снопа не возьмет. А раньше колоски тащили. Правда, вот ежели сено оставишь, это уж и сейчас сопрут, потому как скотину хлебом не прокормишь. Горючее тоже свиснут. Хоть бочку оставь – увезут. Потому как интересно. А хлеб ноне можно и в магазине купить. К нему интерес пропал. Ну, возьми снопы, обмолоти их, – а зерна куда девать? На всю округу одна мельница осталась. Дак сразу определят, откуда зерно. Разве что курей кормить? А для курей много ли надо? Для курей можно и в кармане натаскать чистенькое зерно, прямо с тока, из-под веялки. И никто тебя обыскивать не станет. Это раньше обыскивали, так по ночам воровали и снопы, и колоски, и полову. Словом, жить таперика стало легче.

А тогда на коровах пахали. У колхозников забирали личных коров на посевную. А бабы прибегали на пашню коров своих доить. Снимешь с нее постромки – у нее холка набита, кровь течет. Баба плачет – отдай корову! Но кто же ее отдаст? До конца посевной – ни-ни... На обще-

ственных началах пахали. Тут с желанием каждого нельзя считаться. Тут надо держать прежде всего общественный интерес, а потом уже личный. Эту заповедь мне вдолбил еще Филипп Самоченков. И я крепко держался ее – ни одной коровы не отпустил с посевной. Пусть она хоть на коленках ползет по борозде. Я строгим бригадиром был. И первым отсеялся. А те, которые характер не выдерживали, – пораспустили коров и с севом не управились. Их и начальство бьет, и бабы ругают: половину коров они придержали! А я кончил – и враз всех отпустил. Ну что, говорю, бабы-дуры? Кто прав? И что вашим коровам сделалось? На ногах не стоят?! Ничего, дома отлежатся. Главное – управились к сроку.

Меня за эту ударную посевную послали на тракториста учиться. Это и было мое первое выдвижение, которое заслужил я собственным путем.

А через полгода окончил я курсы трактористов, получил новенький ХТЗ и поехал в лесное село Корабишино. Пригнал я трактор – все село на поглядку сбежалось. Я сижу на своей железной тарелке с дырками, за руль держусь и сам себе нравлюсь. Сапожки на мне новенькие, рубаха красная пузырем дуется, и физиономия от удовольствия круглая...

Да, пожил я в первых трактористах. У меня целый штат был: водовоз, заправщик, учетчик и персональный повар – Паша Самохина. Казан мяса в день съедал! Подгоню, бывало, трактор на обед к стану – котел кипит, а Паша моя на нарах прохлаждается. Я стащу ее с нар, оттопчу возле казана, потом уж за обед принимаюсь.

И вот она, на мою беду, забеременела. Может, я виноват, а может, и нет. Ведь у меня целый штат был. Я на пашню – они вокруг казана. Особенно учетчик Максик возле нее увидался. Он ее и научил показания давать по-культурному. На суде я отказываюсь, а она говорит:

– Ну, как же, Петя? А помнишь, как ты меня возле казана приобщал? А в Касьяновой балке?

Ну, так и далее. Таперика, присудили мне алименты, а я не плачу. Вызывает прокурор, – я тебя, говорит, такой-сякой, посажу! Отдай деньги сегодня же!

Ладно. Зашел я к Паше, отсчитал ей сто восемьдесят рублей – вот тебе за целый год. Проверь, говорю. Она пересчитала. Верно? – спрашиваю. Верно. Ну-к дай сюда! Вырвал я у нее деньги и – в боковой карман к себе положил, да еще прихлопнул. Тут они надежней лежать будут, говорю. Когда тебе понадобятся – отдам.

Опять меня к следователю... Брат родной! Сходил я к бабке Макарьевне, которая роды у нее принимала, и подготовил ее:

– Ты скажи следователю, что при родах она Максика называла. А я тебе за это мылом заплачу.

Надо сказать, что с мылом в ту пору плохо было. А мне по квитанциям много выдавали его, якобы на помывку. Но я сроду с мылом не мылся, залезу в пруд – окупнусь да песочком руки потру, и порядок. Мыла этого скопилось у меня – девать некуда. Ну, бабка Макарьевна ради такого добра не токмо что на Максика, на Иисуса Христа донос напишет. Отомстил я Максику за культурное приобщение... И следователя совсем запутал. Тянул он, тянул это дело, пока его самого вместе с прокурором в тюрьму не посадили, вроде вредители оказались. А меня в МТС перевели.

Тут взялся я сам за личное дело этого Максика и говорю:

– Учетчик при МТС – первый подступ к руководящей работе. А у вас, товарищ Максик, на автобиографии пятно с Пашей Самохиной. Либо вы его ликвидируете, либо мы поставим вопрос о вашем персональном деле.

Бегал он бегал к бабке Макарьевне, да и завербовался на торф в Шатуру. А потом и Паша Самохина подалась за ним. Дальнейшая их судьба мне неизвестна.

А меня перед самой войной директором районного маслозавода поставили, и переселился я в Тиханово. Тут, надо сказать, я оформился по всем линиям внутренним и по внеш-

ности – принял свой окончательный вид. Мое брѣховское прозвище – Дюдюн – позабыли. Зато в Тиханове меня прозвали Центнером.

Внешность для руководителя – одно и то же, что сбруя для рысака. Какая у него резвость, это еще надо посмотреть. Зато бляшки на шлее все видят, – тренчики с серебряными оконечниками висят по струнке, вожжи с медными кольцами, обороть с чернью по серебру... Да что там говорить! Птицу, как говорится, видно по полету. Так вот и я. Справил себе первым делом френч защитного цвета, брюки галифе из темно-синей диганали. И шляпу соломенную...

Не только что в районе все руководители признавали меня за своего... В армию призвали – и там из великого множества голых да бритых меня отметили. Прибыли в гарнизон.

– А вы по какой линии служили? – спрашивает меня подполковник в распределителе.

– По хозяйственной, – отвечаю.

– Так вот, Петр Афанасиевич, будьте добры, примите команду над этой публикой.

А потом меня старшиной хоззвода определили. Я на походной кухне ездил, что на твоей тачанке. Бывало, не токмо пешие, танки дороге уступали.

Только один-разъединственный раз моя руководящая внешность дала осечку. Ранило меня в пах. Ни одной ногой пошевелинуть не могу. Лежу это я, смотрю – наклоняются двое. «Ну, подняли, что ли ча?» Пыхтели они, пыхтели, один из них и говорит:

– Вот боров! Пока его донесешь – ожеребишься.

– В нем пудов сто будет... ей-богу, правда.

– Давай лучше вон того подберем, тощего.

– Дак тот рядовой, а это старшина.

– А хрен с ним! Жрать поменьше надо. Теперь пусть лежит – лошадь ждет.

Так и оставили меня во чистом поле боя. Лежу я, в небо смотрю. Язык не ворочается, а мысли трезвые, и руки владают. Потрогаю промежность – кровью залито. «Эх, – думаю, – отлетела моя граната! Отстрелялся...» И когда я очнулся в госпитале, первым делом спросил у доктора:

– Как там моя промежность? Прополку не сделали? Не охолостили?

– Бурьян твой, – говорит, – в порядке. Еще постоит.

Ну, значит, жить можно. Вернулся я домой и – опять на свой завод, директором. Поправился я, и дела пошли на лад. Да и как им не идти? Маслозавод – не колхоз. Не я им сдаю, а они мне. И отчитываются они передо мной. Председатели мне молоко везут, а я им обрат, творог. И они же мне спасибо говорят. Ну конечно, за спасибо я творог не давал. Я брал взамен мясом, и хлебом, и медом. Кто что мог... Ну, чего мне было не жить?

И на тебе! Наступил пятидесятый год, стали колхозы объединять. Вызывают меня в райком. Тогда еще первым секретарем был Семен Мотяков. У него не пошалишь.

– Булкин, – говорит, – сдавай завод!

– Как так сдавай? За что? В чем я провинился?

– На повышение пойдешь. В Брѣхово, председателем объединенного колхоза.

– Дак там Филипп Самоченков.

– Он и колхоз развалил, и сам запил.

Брат родной! Что тут делать? Я прямо сна лишился и ослеп от переживаний. В больницу ходил... Но у Мотякова один ответ:

– Ты самулянт! В колхоз не хочешь итить? Ты что, против линии главного управления? Да я тебя знаешь куда... в монастырь упрячу! В Святоглебский!!

Ну, словом, взяли меня за шкуру, избрали на бюро председателем и повезли в область на утверждение. Мотяков стоит за дверью, а я у секретаря заикаюсь:

– Не потяну я... По причине своего незнания.

– Откуда он взялся такой непонятливый? – спрашивает секретарь.

Кто-то за столом из комиссии говорит:

– С маслозавода. Директором работал.

– Ах, вон оно что! Привык там, на маслозаводе, масло жрать. А в колхоз не хочет? Исключить его из партии!

Тут Мотяков не выдержал, вошел в кабинет и прямо от дверей:

– Так точно, товарищи! Масло он любит жрать. Вон как округлился. Только насчет исключения давайте повременим. Мы доведем его до сознания.

Поехали обратно домой – он меня все матом, из души в душу. Всю дорогу крыл. Что делать? Согласился я.

А Маруська мне говорит:

– Ну, чего ты нос повесил? Не горюй! Если тебя посадят, я вернусь в свою избу. Не будем продавать ее.

Заколотили мы окна и переехали в Брёхово. Распрощался я с райцентром навсегда. Не повезло.

Кони вороные

Таперика, сказать вам откровенно, напрасно я боялся председательской должности. Пронесло меня благополучно... И более того – жил я, скажу вам, лучше, чем на маслозаводе.

Оклад у меня две тысячи рублей, своей скотины полон двор: двадцать овец, две свиньи, корова, подтелок. Маруська у меня не дремала. Да и я при операциях состоял. Себя не обносил.

А кони у меня были... Звери! Ну, как в той песне поется: «Устелю свои сани коврами, в гривы конские ленты вплету...» Вороные, как смоль. И подбор весь черный с красным поддоном – потники, кошмы, попоны... У коренника на хомуте воркуны серебряные. Ездил только на тугих вожжах. Запряжем, бывало, с первыми петухами...

– Сашка, – говорю, – быть по-темному в Тиханове!

– Есть по-темному!

Лихой у меня был кучер. Сядет он в передок, на одно колено, второй валенок по воле летит, как у того мотоциклиста. Я в тулуп черной дубки залезу да в задок завалюсь, полостью прикроюсь от ископыти.

Эй, царя возили!

И – гайда! Только нас и видели.

По петухам определялись... Первые петухи в Брёхове кричат, вторых настигали в Бого-явленском, а третьих, рассветных, в Тиханове. Тридцать пять верст за час пролетали. До Бого-явленского перевоза цугом едем – дорога узкая, перемены... А как за реку выедем – впри-стяжку, и по накатной столбовой... Только стаканчики на столбах мелькают.

Однажды из-за этих коней попал я в переделку. Вызывают меня после посевной в район. Куда семена дел? Почему изреженные всходы? Так и далее... Уполминзаг приезжал ко мне и навонял. Энтот был обособленный, никому не подчинялся. И силу большую имел, захочет – все выгребет, до зернышка. Шныряет, бывало, по сусекам, а ты ходишь за ним и молчишь.

Ну, ладно. Оделся я чистенько: сапожки хромовые, китель из желтой чесучи, шляпу соло-менную набекрень. Полетели!

Доезжаем до перевоза – стоп! Шофер знакомый с Выселок.

– Ты куда?

– В район.

– И я в район.

Стакнулись мы с ним. Он вынул поллитровку.

– Давай, – говорит, – для начала эту распечатаем да речной водичкой запьем, освежимся.

А уж в районе подкрепимся по-настоящему.

Раздавили мы эту бутылку на троих, я и говорю Сашке:

– Ну, чего ты в Тиханово поедешь? Оставайся с конями здесь, а я в кабине проежусь.
Сели мы в машину – поехали. Вот тебе до Свистунова не дотянули – стоп наша машина.
Раза три выстрельнула, будто наклейка треснула на телеге, и остановилась. Что такое?

– Это, – говорит, – свеча подгорела. Сейчас сообразим.

Открыл мой шофер капот, уткнулся в мотор, как в колодец – один зад наружу – и притих.
Уж я ждал, ждал, – а он все не шевелится.

– Да ты что, в самом деле, смеешься надо мной? Я на совещание тороплюсь, а ты меня фотографировать? Некогда мне на твою сиделку любоваться.

– Сейчас, сейчас...

Тут он забегал вокруг машины; забежит спереди – посмотрит, посмотрит, хлопнет по ляжкам руками, как кочет крыльями, назад побежит – опять смотрит.

– Ну, что такое?

– Не могу, – говорит, – определить.

Потом успокоился, сел в кабину и эдак, даже с радостью, говорит:

– Уяснил наконец.

– Ну?

– Бензин весь кончился.

Брат родной! Куда мне деваться? Назад бежать, к лошадям – и за час не добежишь. Вперед идти – пятнадцать километров – до обеда не дотопашь. А совещание уже открылось по времени.

– Ну, – говорю, – душегубец ты проклятый! Что ты таперика мне присоветуешь?

– У меня травка в кузове. Ложись, Афанасеич. Попутная машина пойдет – я тебя крикну.

А я, – говорит, – за рулем, вздремну. Дело привычное.

Какое тут спать! Я как представлю заседание бюро районного комитета и выступление товарища Мотякова, нашего докладчика, – у меня прямо вши от страха мрут. Но что делать?

Встал, как суслик, возле дороги, стою – жду. Впору хоть засвистеть от досады. И вот – катит грузовик. В кабине рядом с шофером женщина, а в кузове стол и корова. Останавливаю:

– Дайте бензину!

– У самих еле-еле до Тиханова доехать.

– Возьмите тогда меня с собой?

– Пожалуйста, но только в кузов.

Я и полез к столу да к корове. Уселся на стол, за рога ухватился – поехали! Едем, а пыль, пыль на дороге – ну, прямо коровы не видать. Меня так разукрасило, что китель из желтого в серый превратился. А на лице одни глаза остались.

И явился я на бюро в таком виде. Эх, меня и взял в оборот Семен Мотяков. К тому времени его понизили до заведующего райзо. Но силу имел он большую.

– Вот он, полюбуйтесь! Мельник с помола... И семена израсходовал, и на членов бюро наплевал.

– Я, – говорю, – в кузове ехал на попутной.

– Нас дело не касается. Телефонограмму получил – изволь явиться вовремя.

И закатили мне строгача. Зашел я в столовую (раньше в Тиханове столовая с райкомом одним ходом сообщалась, вроде туннеля), выпил разведенного спирта – меня и хмель не берет. Доехал на попутной до перевоза – смотрю, Сашка здесь и кони мои тут, на приколе травку щиплют. Встречает меня друг, объездчик луговой, однорукий Ленка Заливаев. И ружье на плече, и собака при нем, и две утки висят на поясе. Он хоть и об одной левой руке остался, но бьет только влет, да так, что ты с обеими руками и ружья не успеешь вскинуть, а он уже с левого ствола вторую утку добивает.

– Ты чего, – говорит, – такой снулый? Или жара уморила?

– Я побывал в такой печке, где мозги запекают. Так что меня, – говорю, – жара не снаружи, а изнутри мучает.

– А против этого лекарство имеется, – подмигивает Ленька. – Клинь клином вышибают. А у меня и закуска соответствует, – он приподнял уток.

– Что ж, – говорю, – Сашка, запрягай! В Богоявленском полечимся.

– Там карантин объявлен, – говорит Сашка. – Нас не выпустят оттуда.

– А зачем туда ехать? Я сейчас обернусь, – сказал Ленька однорукий. – Здесь и расположусь. На вольном воздухе.

– А ты знаешь, сколько ее принести надо? – спрашиваю я Леньку.

– Дак прикинем...

– Все равно просчитаешься. Когда человек имеет серьезные намерения, сроду не определишь – сколько ее понадобится. Поедем к ней сами.

Приезжаем в столовую – нет водки. Мы в магазин – нет! Только одно шампанское... Ну, что делать? Бери, говорят, кисленькое. Дак от нее только утробу раздувает, а до головы она не достигает – вся крепость газом выходит. А Ленька мне в ответ замечание:

– Мы ее, – говорит, – заткнем, утробу-то. И забушует, как в хорошей бочке.

Ладно, взяли кисленького или сладенького, я уж не упомянул. По гранате на брата... Пробки в потолок – бах, бах! Прямо как стрельба по уткам – и дымок с конца ствола вьется. Выпили... Ни в одном глазу. Взяли еще по одной... Не берет! Тогда я вошел в магазин – дверь на крючок и говорю Лельке, продавщице:

– Пиши фактуру, на магазин бреховский. Там рассчитаемся.

– Какую фактуру, Петр Афанасиевич?

– Ящик шампанского, – говорю.

Выписала. Я накладную в карман, ящик внесли в столовую речного пароходства, поставили под стол – и пошла стрельба.

Сорок бутылок выпили! И сами пили, и другим давали. Ежели, к примеру, понравится нам компания за столом, мы в них выстрелим пробками, а бутылки им на стол. Пейте, ребята, за счастливую колхозную жизнь! А Ленька однорукий все в буфетчицу метил, стервец. Попадет в нее пробкой – бутылку вина отдаст. Она все: хи-хи-хи да ха-ха-ха! А бутылку за бутылкой под прилавок прячет.

Одно неудобство есть в употреблении шампанского, – иной раз дымок за пробкой вьется, а иной – такой водомет выхлестнет, что все рожи нам пообливало. Вышли мы из столовой, что из твоей бани. Лошади только дорогу почуяли – и понесли.

– Петр Афанасиевич! – кричит Сашка. – Впереди шламбалка.

– Преодолеть шламбалку! – приказываю.

Сашка встал во весь рост, шевельнул вожжами:

– Эй, царя возили!

А Ленька однорукий на колено поднялся, выхватил бутылку шампанского из кармана:

– Сейчас я этих коновалов, – кивает на часовых, – гранатой накрою.

А я откинулся на спинку в тарантасе и думаю весело: «Ну попробуй таперика задержи нас...»

– Э, ходи! Шагай, милые! Прочь с дороги!..

Помню, как хряснула шламбалка, бутылка зазвенела – это Ленька в сторожевое ружье угодил. Чего-то ветеринары кричали. А мы, соколики-чижики, как по воздуху пошли.

Ехали-ехали... Я хватать за голову – кепки на мне нет. Очнулся – оказывается, уже светает. Мы спим в тарантасе, а кони в овсах пасутся.

Явился я наутро в свой магазин, подаю накладную и говорю:

– Сдаю фактуру – ящик шампанского.

– Пожалуйста, заносите, Петр Афанасиевич.

– А я уже занес... К себе в живот. Ну ничего, Яков Иванович медом рассчитается.

Яков Иванович – это бухгалтер колхоза. Тонкий человек был. Так вел бумаги, что не одна ревизия с носом уходила. Хоть полколхоза растащи, все оправдает.

А за то, что я шламбалку поломал, мне строгача дали. Второй выговор за день заработал. Но нет худа без добра. Коней моих арестовали на сорок суток ветеринары. Так что и для меня наступил отдых – больше месяца в район ни ногой. Меня и по телефону, и депешей вызывают. Не еду! Не имею права. Арестованы лошади! А ветеринар не следователь, ему не прикажешь отпустить арестованного. По скотине закон строже соблюдается.

Мой брат Леванид

Как вы уже знаете, мой брат Леванид работал когда-то ветеринаром. Потом его перевели в Корабишино санитаром. Но так как фельдшера там не было, то Леванид лечил всех – и скотину и людей. Лечил он ото всяких болезней чистым дегтем. Каждому больному прописывал по чайной ложке три раза в день.

– Ну, таперика пей и жди полтора года, – говорил он. – Болезнь изнутри выходить будет.

И вот что удивительно – многим помогало. К нему и сейчас ходят за советом. Намедни сию у него, выпиваем. Приходит соседка, у нее девочка болеет, не то экзема, не то лишай.

– Хочу Ленку везти на курорт и боюсь, – говорит.

– Тогда не вези, – отвечает Леванид.

– Дак ведь он, курорт, все ж таки наружу вызовет болезнь.

– А может, он вовнутрь загонит? Еще глубже... Тогда как? Соседка вроде бы в сумление вошла:

– Доктор сказал, вези, а гепат – не ездий.

– Гепат, он все знает.

И не поехала. Послал ее Леванид в Корабишино, к своей бывшей сотруднице по ветеринарному пункту бабке Кочабарихе. Та наговорила на конопляном масле, ну и что-то подмешала туда... И все болячки как рукой сняло.

Леванид живет таперика на персональной пенсии. Ему тоже платят шестьдесят пять рублей, но только по военной линии. Он ушел воевать командиром отделения, а возвратился командиром батлиона. Между нами говоря, он чуточку привирает. До батлионного он не дослужился, но командиром роты был... Это уж точно. От войны у него осталось ранение в голову. На самом темени выбита кость, и такая ямина образовалась – яйцо куриное уложишь. Точно говорю! Леванид, когда выпьет, разойдется, то размахнет кудри, поставит темя и кричит:

– Не веришь, что у меня полголовы нету? На, клади яйцо! Я клал неоднократно. Держится яйцо!

– Леванид, – говорю, – как же ты при своем офицерском звании не добился в госпиталях, чтобы заделали тебе эту пробоину?

– А-а! У нас доктора ненормальные. Лежал я в Грозном. Хирург мне и говорит: «Давай вырежем у тебя ребро да заделаем костью голову».

– А ты что?

– Отказался.

– Почему?

– Вот чудак! Как же без ребра-то жить?

Вы, может быть, посмеетесь? Но давайте так рассуждать. В нашем крестьянском деле ребра важнее головы. Пойдешь косить – при густой траве ребро за ребро заходит, потому как весь упор делается на ребра. А ежели у тебя ребра нет, какая может быть устойчивость? И какой из тебя косец?

Между прочим, мой брат Леванид до сих пор стога мечет и косит в колхозе во главе пенсионеров.

И в общественной жизни участие проявляет: металлолом собирает, пионерам рассказывает насчет проклятого прошлого, вопросы задает на лекциях о международном положении, так и далее.

А в день двадцатилетия победы в Тиханове он бреховским отрядом ветеранов командовал. Объявили, таперика, девятого мая парад: «Которые с медалями и орденами – в район на парад!» Прибегает Сенька Курман в правление и говорит:

– Товарищ председатель, а вот как мне быть? Медаль оторвалась, а эта самая висит?! – Он показал на приколотую к пиджаку колодку.

– Документы на медаль есть? – спрашивает Петя Долгий.

– Какие документы? У меня паспорта и то нет.

Просто смех!.. Между прочим, с последней наградой моего брата Леванида тоже получилась забавная история. Но тут надо отступ сделать.

Прошлой осенью произошел затор по мясу. Скота много развели, а девать его некуда. В заготскот, государству – не берут: мясокомбинаты перегружены. На рынок везти – не продашь. Трава выгорела, сена не заготовили. Кто же купит корову в зиму? Вот Феня, жена Леванида, и говорит моему брату:

– Давай продадим корову-то, а телочку купим. Уж больно она здорова. Это ж не корова, а прямо Саранпал. Она сожрет нас в зиму-то.

Ну, Леванид и в заготскот, и в район... мыкался, мыкался да ни с чем и вернулся. В ту пору бреховские сочинители Глухова и Хамов частушку пустили по народу:

С коровенкой бабка Таня
Ходит осень без ума;
Ей с района отвечают:
Мясо, бабка, ешь сама.

И вдруг приходит разнарядка на бреховский сельсовет: «Принять двух коров».

Ну, Леванид в сельсовет. Ходы знакомые. И авторитет у него все ж таки имеется. Отво-
евал он одну разверстку. Несет домой в нутряном кармане, что твою путевку на курорт.

Ладно, пригоняют они по этой разверстке свою корову в заготскот. А им говорят:

– От своих мы не принимаем коров. Надо прививку против ящура сделать да две недели выдержки дать.

Сделали они прививку. Проходит две недели – пригоняют опять в заготскот. А им и говорят:

– У нас прием закрыт. Исчерпали, значит. Гоните свою корову на базу в Пугасово.

Батюшки мои. За сорок верст киселя хлебать. Но делать нечего. Повязали они веревку корове на рога, буханку хлеба под полу и пошли. Один за веревку тянет, второй подгоняет. Целый день пихтарили. Вот тебе, пригоняют на базу, а им и говорят:

– Где ж вы раньше были? У нас уж партия того... уклепонтována. Пригоняйте в конце месяца.

Ладно, приходит конец месяца, сложились они втроем, наняли грузовик, потому как снег уже выпал. Загнали они коров в кузов, а борта у него низкие. Вот тебе тронулся грузовик – коровы в рев да через борта повыпрыгивали. Леванидова корова упала на голову и рог сломала. Что тут делать, головушка горькая? Бегали они бегали, нашли военную машину с высокими бортами. Договорились. Только собрались коров грузить – является рассыльный: «Дядя Леонтий, тебя в сельсовет вызывают». – «Зачем?» – «Не знаю, а только наказывали – срочно явиться».

Приходит Леванид в сельсовет, а там сидит подполковник:

– Вы Булкин Леонид Афанасиевич?

– Я самый. В чем дело?

– У меня, – говорит, – награды ваши. Двадцать три года разыскивали вас насчет вручения орденов. И вот наконец вы нашлись.

– Да я сроду не скрывался нигде, – отвечает Леванид.

– Вас никто не подозревает. Только бумаги ваши долго ходили. Значит, вы награждаетесь орденом Отечественной войны первой степени и орденом Красной Звезды.

– Спасибо, – говорит Леванид.

– Надо отвечать – служу Советскому Союзу!

– Да я уж позабыл. Служба моя теперь вокруг бабы да коровы. Давайте ордена!

– Оба нельзя. Тут одна неувязка. Ваше отчество Афанасиевич?

– Так точно.

– Вот видите. А здесь в одном документе записано Афанасиевич, а в другом Аффониевич.

– Так, может быть, это не я?

– По всему видать, вы. И год рождения ваш, и место рождения... только отчество Аффониевич? Этот орден Красной Звезды мы отправим обратно в Москву и сопроводилку пошлем, где укажем, что вы не Аффониевич, а Афанасиевич. Там исправят и пришлют обратно. Вы согласны?

– Согласен. Мне можно идти?

– А второй орден! Этот мы вам вручим.

– Ну, давайте! – Леванид протянул руку.

– Так просто из рук в руки орден нельзя передавать. Надо представителей власти собрать. Торжественную обстановку сделать. Тогда и вручим вам этот орден.

– Да мне некогда ждать торжественной обстановки, – говорит Леванид. – Мне корову надо грузить.

– Корову можно отложить.

– Никак нельзя. Два месяца ждал.

– Ну как же нам быть? И мне надо в район ехать... Тогда вот что! – придумал подполковник. – Накройте стол красной скатертью, над этим столом я вручу вам и орден и руку пожму.

Наш председатель сельсовета Топырин достал из сундука красный материал с лозунгом, расстелил обратной стороной на столе, и подполковник вручил Леваниду орден.

Пришел я к нему на другой день – орден на столе.

– Ты чего это достал его? – спрашиваю. – Любуешься?

– Испытание проводил. Я все думал, что орден первой степени из золота сделан. Но вот рассмотрел его, покусал... Простой металл.

И он стал рассказывать мне, как сдавали корову и сколько она скинула в живом весе за последние два месяца:

– Была корова, как печь. А пока сдали ее, мослы выщелкнулись.

Про мою личную жизнь

Трудовая автобиография советского человека иной раз осложняется личной жизнью. То есть ежели вы, к примеру, выпимши поскандалили, стекла повыбили или кому-нибудь по шее заехали, а то, может, на стороне зазнобу завели и в свободное от работы время уклоняетесь от исполнения семейных обязанностей – все это и называется личной жизнью. Личная жизнь разбирается на партийном бюро, а ежели вы беспартийный, то на правлении колхоза или на

товарищеском суде. Из чего следует, что личная жизнь есть язва на теле общества, то есть пережиток.

Заболел я ей, можно сказать, случайно. И ведь горя не было б, кабы я свою Маруську не любил. Она хотя и скандальная у меня особа, но хозяйство держит исправно, напоит тебя и накормит вовремя и спать уложит. Так что Маруську я не променяю ни на какую личную жизнь. А повело меня на уклонение от семейных обязанностей, должно быть, с устатку. Весна выдалась трудной...

Сижу это я в кабинете один, в сумерках. И вот тебе заявляется пасечница с дальней корабишенской пасеки и подает мне акт. Читаю: «Акт составлен ниже в следующем, в том, что вчера при свете приехали ко мне на пасеку начальник охраны Хамов Леонтий с братом Михаилом и стали якобы проверять меня на сомнительные ульи. Леонтий ходил по ставу и хлестал по ульям кнутом насчет выявления сомнительного улья. Якобы один нашел. Открыли его, мед взяли и бросили раскрытым. А другие пчелы набросились и уничтожили весь рой...»

Читаю и смотрю я не столько на бумагу, сколько на саму пасечницу, – в хромовых сапожках она, икры голенищами обтянуты, как резиночками – не ноги, а прямо калачи ситные. Фуфайка зеленая распахнута, и кофточка розовая на груди с просветом, аж лямки лифчика видны. Волосы в пучке на затылке, что твоя копна высится, брови черные с росчерком, как крылья от серпочка... Брат родной! У меня аж во рту пересохло и в ушах зажухало: «Жух, жух, жух!» И вспомнил я, как в армии на турнике солнце крутил... Плечи расправил, смотрю на нее, как одурелый. А она стоит, избочась, да прутиком о голяшки сапог хлысть, хлысть. И повело меня на уклонение...

– Катерина Ивановна, – говорю, – какое же у вас мнение о председателе, то есть обо мне? Разве можно вам стоять в моем присутствии? Это было бы неуважение с моей стороны. Садитесь на диван.

А она мне якобы сквозь смех:

– А может быть, мне скучно одной-то на диване сидеть?

– Это вы, – говорю, – напрасно сумлеваетесь. Со мной вам скучно не будет.

– Ну, шире – дале...

Муж у нее в бригадирах ходил – квелый мужичонка: ноги сухие и длинные, как палки в штанах, нос картошкой, глазки маленькие и кепка по самые уши, как на чучеле огородном. А бегал – на лошади не догонишь. Его и прозвали Дергуном...

Первым делом я отправил его на лесозаготовки – с глаз подальше. А сам пересел в седло, чтобы без свидетелей...

Бывалочи вечером подтяну подпруги – и гайда! Седельце у меня было в серебряном окладе, лука низкая – сотню верст скачи – не притомишься. Только на опушке леса покажусь – она уж тут как тут, ждет меня моя касаточка. Я ее одной рукой с земли приподнимал и прямо в седло, к себе на колени. И везу куда хочу.

В омшанике мы сеновал устроили – постель под самой крышей на сене духовитом, да под пологом. Разденемся, бывало, донага, нырнем под полог, как в твою речную волну, и всю ночь челюпкаемся. Я, говорит, за то тебя люблю, Петя, что после ночки с тобой я день-деньской пластом валяюсь. Да и я ее любил, признаться, – в передовые пчеловоды вывел, часами ручными наградил и почетной грамотой.

Все бы оно хорошо... Да беды не предвидишь, от нее не уйдешь, как от районного начальства. Вот звонят мне из района:

– Никуда не уезжай – к вам уполномоченный.

Значит, готовь лагун меду. Послал я за медовухой к Дуньке Сивой, сижу в правлении, жду.

Приехал, оказывается, корреспондент с фотоаппаратом – передовиков фотографировать. Тут я думаю: порадуя-ка свою Катерину Ивановну. Сфотографирует он ее и в районную газету

поместит. Парню этому я верил – не раз выпивали. Опростили мы с ним вдвоем лагун медовухи и поехали к Катюше на пасеку.

У нее было много платьев – в сундуке лежали, в омшанике. Принарядится, соображаю я, в самый раз будет.

Так и есть. Обрадовалась она... Медовухи нам поставила, а сама то в одно платье оденется, то в другое. Выйдет перед нами – прямо краля бубен! То шеей лебедя выгнет, то ручкой... Ну, меня и разожгло:

– Давай, Катюша, изобразим картину у шатра!

У нас в омшанике ковер висел, масляными красками писанный: в красный шатер несет персидскую царевну Стенька Разин. На ней ночная рубашка с кружевами, так что грудь голая видна, а на Стеньке алые шаровары и пояс голубой. Ковер этот я ей преподнес, – на мед выменял, в Пугасове на базаре.

Она тоже запьянела... Вынесли мы полог из омшаника, растянули его на лугу, полу одну приподняли, так чтобы постель там была видна. Разделась она до рубашки – груди, как у той царевны персидской, в стороны торчат. И я все с себя снял. В одних подштанниках остался. А шарфом газовым пупок повязал. Чем не Стенька Разин?

Поднял я ее на руки, она меня за шею обняла, и говорим:

– Таперика фотографируй!

Он нас по-всякому сфотографировал: и перед шатром, и в шатре, якобы она лежит на подушках и руки ко мне протягивает, а я вроде бы наклоняюсь над ней. И как она платье снимала, и как мы на постели лежим... Ну, так и далее. Хорошо время провели, весело.

Тут как раз прислали нам новую автомашину. Повез я молоко в район и заехал в редакцию к тому другу-корреспонденту. Он мне дал целую пачку этих фотографий под названием «Стенька Разин и персидская царевна». Я сунул их в карман, и на радостях мы во всех ларьках заправлялись. Домой приехал, еще стакан тяпнул и уснул.

А у меня мужики собрались, новую машину обмывали. Яков Иванович, бухгалтер, хватился – папиросы кончились. Он, чудак, и полез ко мне в карман за куревом. Я дрых на кровати. Ну и вытащил он всю эту пачку фотографий. Маруська увидела – и на него:

– Ты куда полез? Чего вытащил? А ну-ка, дай сюда!

Как увидела она это изображение, и тут же при всех устроила мне представление из татарского побоища. Мои мужики от страха поразбежались...

Утром проснулся я – что такое? Не могу шею повернуть, и шабаш! Правый глаз затек, и губа выше носа вздулась...

– Вставай, Степан Разин, атаман донской!

Маруська сидит за столом в новом платье, платочек на плечи накинула газовый. Дурная примета – ежели она с утра принарядилась, значит, быть скандалу. Силюсь вспомнить: что я вчера натворил по пьянке? Или стекла побил, или на столб наехали? Чую что-то неладное, но вида не подаю. Спрашиваю:

– Ты чего вырядилась? По какому такому празднику?

– Решила верующей стать, – говорит. – Вот к исповеданию приготавилась.

И голосок у нее такой вкрадчивый, и губы поджимает. А это уж бывает перед тем, как тарелки в ход пустить. Да что ж я такое натворил?

– Садись, Петя, садись. Может, и ты причаститься хочешь? Сажусь да поглядываю: чем ты меня только причащать будешь?

А она все тянет:

– Может, опохмелиться хочешь?

Стопку поднесла, выпил...

– Ты, случаем, не заезжал вчера к Дроздовым на машине?

– К каким Дроздовым?

- На пасеку, в Корабишино?
- С какой стати?
- Будто ты у них прихватил что-то.

Ну, думаю, начинается моя личная жизнь. Уж не потому ли пострадала моя физиономия? Но чтобы там ни было, а личную жизнь сперва-наперво надо отрицать. Я изобразил обиженный вид.

- Ты меня, – говорю, – за вора выдаешь. Я чужих вещей не беру.
- Да не вор, Петя, а разбойник... Стенька Разин!
- Мне твоя игра в казаки-разбойники вовсе не понятна.
- Неужели? Ну-ка вспомни, зачем туда ездил?
- Я там быть не бывал... Ну, может, до войны еще. По совести говоря, я и дорогу позабыл туда.

– Вот оно что! Значит, ты еще в довоенную пору фотографировался.

Тут она вынула из кармана мои фотокарточки, где я в подштаниках Стеньку Разина изображал, и спрашивает:

- Узнаешь?
- В первый раз вижу, – и даже физиономию отвернул, будто меня это вовсе не касается.

Тут я допустил грубую тактическую ошибку, – потерял противника из поля обзора. У нее под столом была заготовлена тяжелая глиняная миска. Вот этой миской она меня и накрыла с левого фланга, прямо по уху...

Очнулся я на полу. Лежу весь мокрый – водой меня окатила, холодной, прямо из колодца. Приподнял я голову – у меня под носом догорает вся эта знаменитая история про Стеньку Разина и персидскую царевну. Кучка пепла ото всех моих фотографий.

Но Катин муж, Дергун, поступил коварнее. Налил он лагун меду и заявился в райцентр к фотографу-корреспонденту. «Вот вам Петр Афанасиевич медку прислал. Очень ему ваши фотокарточки понравились. Он просил еще прислать, если можете». – «Да поищите вон в куче на столе». Дергун сам выбрал, какие поинтереснее. И отнес их в райком вместе с заявлением: «О том, как председатель сожительствоет с моей женой, а меня сослал на лесозаготовки...»

И вызвал Семен Мотяков меня на бюро. А у меня еще не зажили на лице следы домашнего разногласия. Явился я, а Семен Мотяков говорит:

– Вот он, Стенька Разин без порток... Его и спрашивать нечего. Вся личная жизнь у него на физиономии отпечатана.

Начальство не жена. Здесь тактика огульного отрицания успеха не приносит. То есть тебя просто не слушают. Поэтому я все перевел на производственные отношения.

- Какая там личная жизнь! Это я с лучшим пчеловодом общался без задней мысли.
- Поговори у меня! Не то я из тебя вышибу и задние и передние мысли. Пригласите потерпевшую, – приказал Мотяков.

И вошла она... Платье розовое, туфли на каблукках, и даже этот самый радикуль в руке, наподобие сумки портмане, то есть большой кошелек с шишечками. Стоит и покачивает радикулем.

– Я вас, – говорит, – слушаю, Семен Иванович.

Мотяков даже крикнул от такого обхождения:

- У вас никаких претензий нет к этому гражданину? – и указывает на меня.
- Какие могут быть претензии! – Катюша так и заулыбалась. – Мы с ним просто представления разыгрывали... Как на сцене.

– Это вы правильно, – сказал Мотяков вроде бы тоже с улыбкой. – А насчет производства зайдите ко мне в кабинет, после бюро.

– С большим даже удовольствием...

Мне дали строга, а Катюшу перевели через неделю в райцентр, продавцом поставили. Дергуна же ее послали в Пугасово, экспедитором на базу. Встретил я его как-то потом в Пугасове, в столовой. Он пьян в дымину.

– Вот ты и донес на меня, – говорю. – Но что ты выгадал? То был на лесозаготовках за пятнадцать верст, а теперь тебя за сорок пять километров отправили.

– Не в том, – говорит, – беда, Петр Афанасиевич. Просто меня чужая личная жизнь заела.

Кто такие оппортунисты?

Сидим мы как-то вечером на бревнах – я, Филипп Самоченков и Петя Долгий – все три председателя. Решили Самоченкову дом новый построить, всем колхозом. Ну, и пригласил он выпить. Отказываться неудобно. Выпили, разговорились.

– Когда человек стареет, мозги у него разжижаются, – сказал Филипп.

Петя Долгий засмеялся, а я спросил:

– Ты кого это имеешь в виду?

– Так, к слову пришлось. Старость моя, и больше ничего.

Я крепкий на слезу был человек. А вот когда постановление вышло – дом мне построить, не вытерпел. Потекло у меня из обоих глаз... Семена Мотякова вспомнил.

– Где он теперь? – спросил Петя Долгий.

– В Касимове, на речной пристани грузчиком работает, – ответил Филипп.

– Да он вроде бы кадрами заведовал?

– Сняли за пьянку, – сказал я. – Намедни в Касимов приехал. Сошел с пристани. Глядь – Мотяков! Лошадь его с повозкой завязла. Он орет на всю набережную и лупит ее чем ни попади. И вот ведь какой дьявол – все промеж ушей норovit ударить.

– Самая притчина, – сказал Филипп. – Он и раньше в точку метил. Сколько лет я при нем отработал! Семен Иванович, говорю, мне бы дом построить. А он: «Тебе казенный обеспечен на старости лет. Все равно проворуешься». Да разве ж я с целью обогащения работал? Я, бывало, только и смотрел за тем, как бы линию держать.

– А как ты ее понимаешь, эту линию? – спросил Петя Долгий.

– Да когда мне было понимать ее? – Филипп даже удивился. – Жизнь не на понятии строилась. И занят был я по горло. Ты вот с утра выехал в район, а в обед глядишь – дома. После обеда спрашиваешь: «Где Петр Ермолаевич?» Говорят – в район уехал. А к вечеру опять по колхозу бегаешь. Я ж, бывало, поеду с утра, отсезаю там, возвращаюсь на другой день, а тут уж телефонограмма – обратно вызывают. «Сашка, перепрягай лошадей! Поехали...» Один вопрос заострили, второй ставят. И ты, бывало, идешь от вопроса к вопросу, как по столбовой дороге. Тут и понимать нечего. Только линию держи. Когда меня поставили председателем, я испугался: «Что я буду делать? Я же малограмотный!» – «Не бойся, за тебя все решат». И верно, сообща решалось. Ты как ноне премиальные выдаешь? Кто перевыполнит норму на косьбе, к примеру, или на пахоте – получай три рубля. Кто на согребании – два рубля. «Сашка, расплатись!» Сашка вынет ведомость и тут же, опираясь на «Волгу», запишет и деньги выдаст. А раньше? Хочешь премию выдать – проведи сначала через правление, потом на исполком вынеси, потом в райкоме утверди. А потом уж акт вручения – соберут весь колхоз, представитель придет и вручит почетную грамоту.

Петя Долгий засмеялся, а я сказал:

– Ты, Филипп, путаешь практику с теорией.

– Да нет. Это я к тому говорю, что жизнь у нас ноне пошла вроде бы самотеком.

– Это верно, – сказал я. – Раньше постанов был строже. Бывало, Семен Мотяков соберет нас всех и задаст вопрос: «Ну, что культивируется на сегодняшний период?» Допустим,

наступление на клевера. Или глубокая весновспашка... Значит, кто пашет мельче, чем на двадцать два сантиметра, тот – оппортунист.

Петя Долгий только посмеивается да головой крутит.

– Тебе смешно, – сказал Филипп, – а я за этот оппортунизм чуть билетом не заплатился. И все через политзанятия. Бывало, Покров день подойдет, и политзанятия открываются. Что за манера? Тут перепьются все, по улице ныряют, в грязи челюпкаются, а они – политзанятия. Да мало того. Ему еще вопросы задавай. А вопросов не будет, значит, не усвоил.

– Меня за эти вопросы тоже таскали, – ввернул я. – Провели мы вот так же первое политзанятие, не то на Покров, не то на Миколу. «Вопросы имеются?» Встал Парамон и говорит: «Мне надо бы знать, крепостное право отменено?» – «Понятно... Еще вопросы?» Лектор посмотрел на нас мрачно. Все молчат. «Крепостное право было отменено в одна тысяча восемьсот шестьдесят первом году. Понятно?» – «Понятно...» Уехал он. А на другой день уполномоченный заявляется: «Товарищ Булкин, что у вас тут за крепостное право открылось?» – «Извиняюсь, говорю, у нас высшая фаза, то есть в коммунизм идем полным ходом». – «А провокационные вопросы почему задаете?» – «Чистое недоразумение, говорю, потому как мы каждый год политзанятия начинали изучать с крепостного права. А инструктор сам перепутал, с другого периуда начал. Потому и спросили...» Ну, лагушок выпили и мирно разъехались.

– Ты дешево отделался, – сказал Филипп. – У меня оборот другой вышел. Как раз накануне Покрова дня приехал инструктор из районного комитета. «Где парторг?» – «Теще за дровами уехал». – «Тогда собирай ты людей. Мы, говорит, вкратце пройдем главу». Вкратце так вкратце. Послал я техничку школьную, сам пошел по избам. Пособирали всех, кого нашли, – и коммунистов и беспартийных. Думаю – сойдет. Ладно. Расселись, а ночь уж на дворе. Он – в свою тетрадь, а мужики храпака задают. Уж он читал нам читал – часа два. Потом и говорит: «Вопросы имеются?» Ну какие вопросы на Покров день? Кто очнулся, – сидит, в пол смотрит, кто зевает. Думаю, надо задать вопрос, а то еще скажет – не на уровне. Поднял я руку и спрашиваю: «А кто такие оппортунисты?» Он с минуту посмотрел на меня строго, вроде бы впервые видит, и сказал якобы про себя: «Хорошо». И записал что-то в тетрадь. Потом спрашивает: «Еще будут вопросы?» Ну кто ж ему задаст еще? Ежели он меня записал в тетрадь, то и другого запишет. А потом вызовут – отчитывайся. Все молчат. «Ладно, говорит, два часа читал я вам про оппортунистов, а вы еще вопросы задавать!.. Хорошо». Захлопнул тетрадь и уехал. Вот тебе через день вызывают меня в райком. Я спрашиваю бухгалтера Якова Ивановича: «Может, какие данные требовали?» – «Нет, говорит, данных никаких. Приказ явиться лично». Ну, думаю, беда. Без данных вызывают, да еще лично, значит, не к добру.

Везет меня Сашка, а я от озноба зуб на зуб не попадаю. Выпил в Богоявленском, думал, согреюсь. Нет! Трясет, как в лихорадке. Ну за что меня вызывают? По дороге все передумал. И верите – раз пять преступником себя почуял. Может, думаю, за то, что хлеб в скирдах погнил? А может, потому, что льны посеял на нове в низине и они вымокли? Ну, черт его знает...

Приехали в Тиханово поздно. Известное дело – постояльцы. Мясо привезли, меду. Хозяин поллитру поставил. Ты пьешь, и хмель тебя не берет. И сон не в сон.

На другой день утречком подхожу к райкому – пустынно. Никто больше не идет. Не то что председателей – собаки не видать. Ну, беда! Зашел я в приемную. Вот тебе – милиционер Тузиков передо мной... Стоит, как на часах. У меня так все и оборвалось. Дурная примета. Милиционера заранее вызвали. Я потоптался и вроде бы не то спрашиваю, не то извиняюсь:

– Меня вызывали?

– Ежели вызывали, заходи.

И не смотрит на меня. Стучу в дверь – никто не отвечает. Открываю – а там еще одна. Эх, думаю, совсем спятил. Позабыл, что у них перед кабинетом промежуток вроде предбанника. Это, наверно, для того устроено, чтобы дух перевести.

Вхожу в кабинет:

– Здравия желаем!

– Садитесь.

Сел. Смотрю – народа никого, одни они. Листок бумаги перед каждым. Только карандашами шуршат. А сам Мотяков без сапогов, в одних носках ходит и плюет. Как это называется? Ну, что я в школу намерен привозил для плевания... Вроде табуреток?

– Урны, – подсказал Петя Долгий.

– Вот-вот. У него в кабинете их две стояло – одна в том углу, другая в этом. Он ходит, значит, в носках от одной к другой и плюет.

Беда, думаю. Кабы он хотел что сказать, уже сказал бы. А тут замышляет. И такое, что и высказать не хочет. Ходил он ходил, и вдруг ни с того ни с сего:

– Ты почему провокационные вопросы задаешь?

Я так и обомлел:

– Кому, Семен Иванович, задавал я провокацию?

– Ты не прикидывайся дураком! Кто спрашивал нашего инструктора про оппортунистов?

– Дак ведь это я для поддержания порядка.

Тут все как загогочит. А Мотяков подошел ко мне и рявкнул:

– Комедию ломать! Я отобью у тебя охоту дурачиться враз и навсегда. Ты что, не знаешь, кто такие оппортунисты?

Я аж привскочил:

– Знаю, товарищи члены бюро районного комитета, знаю.

Все опять засмеялись, а меня обида взяла:

– Товарищи, не считайте меня за дурака.

– Ты давай сам не придуривайся. Ну, говори, зачем задавал вопрос? – Мотяков стоит передо мной и на носках покачивается.

А второй секретарь Семкин, такой кучерявенький и очень уж шустрый, говорит:

– Семен Иванович, ей-богу, он это без цели. Позвольте, я ему вопрос задам?

– Задавай.

– Скажите, Филипп Самоченков, кто такие оппортунисты?

И все снова захохотали.

– Дак все мы с вами и есть оппортунисты, – отвечаю.

– Как? И я оппортунист? – Мотяков аж голову вскинул кверху, а все остальные притихли.

– Нет, вы, Семен Иванович, не оппортунист. А мы все оппортунисты.

– Почему?

– Потому как планы мы не выполняем.

И все снова захохотали.

– Дурак, – говорит Мотяков. – Оппортунизм – это течение. Понял, враз и навсегда?

Ну, думаю, пропал. Ежели под течение определили меня – конец. Я знал, что в партии какое-то течение было... Стою я, будто в рот воды набрал. А они смеются. Даже Мотяков прыснул два раза.

– Ладно, – говорит, – потешил. Ты почему хлеб не сдаешь?

– Дак ничего нет, Семен Иванович. Окромя проса.

– Сколько проса у тебя?

– Да пудов шестнадцать осталось. Товарищи члены районного бюро, не сумлевайтесь! Завтра же всю сдам...

Все опять засмеялись. И Мотяков не удержался: «Га, га, га! Ну, Самоченков, запомнишь ты оппортунизм. А просо чтоб завтра же было на ссыпном пункте».

Так я и откупился от оппортунизма просом.

Ну, посмеялись мы. А Петя Долгий и спрашивает:

– В самом деле, кто же такие оппортунисты?

– А кто их знает, – сказал Филипп. – Может быть, это тунеядцы, которых выселяют теперь в отдаленные места.

– Нет, – сказал я. – Оппортунисты это люди, которые не выдерживают руководящей линии. И поэтому за ними нужно следить.

– Ай да Булкин! – сказал Петя Долгий. – Рано тебя на пенсию отправили. Ты еще пригодился бы кое-где.

– А что ж? Все может быть... И пригожусь еще...

О разбойниках, о хулиганстве и о том, как все это изменилось к лучшему

У Матвея Кадушкина, садовника из деревни Малые Бочаги, на стене висит карта европейской части Советского Союза, – карта перекрещена черным карандашом; и как раз на пересечении линий жирный кружочек выведен. Это и есть Малые Бочаги. Пуп Земли. Тридцать верст до Брёхова и пять километров до Тиханова. Значит, наш район есть центральный, выставленный как бы напоказ. Поэтому раньше у нас было много бродяг, богомольцев, всяких калек, переходящих и воров. Рассказывают, якобы царь с царицей пеш прошли по нашему району (раньше – уезду), в Саров богу молиться ходили. Первых мы перевели начисто, уничтожили то есть, а воровство еще осталось, как пережиток прошлого. И более того, оно усилилось хулиганством. Тут есть объяснение причины: наш народ раньше имел притеснение от помещиков и заезжей буржуазии, купцов то есть. Поэтому много было разбойников.

Возле деревни Желудево у нас городок есть – старинная крепость с насыпными валами. Все говорят, что там разбойник Кудеяр жил со своей шайкой. А на реке Прокоше даже целые разбойные села были, – это Слезнёво и Богомолово. Между ними река сильно сужается, перекаты идут. Вот на этих перекатах и работали разбойнички – купцов встречали. Те, бывало, подходят к верхнему селу Слезнёву – слезы льют. Проскользнут благополучно через перекаты, выйдут на простор к Богомолу – богу молятся. Тут уж не опасно – на лодке не догонишь.

Петя Долгий якобы в книжке читал: пуще всех разбойничали в нашем крае бабы. Мы даже поспорили с ним, потому как таперика, по моим наблюдениям, бабы, то есть женщины по-современному, работают, а мужики пьянствуют и хулиганят. Но Петя Долгий показал мне книгу тамбовского буржуазного историка Дубасова. И я прочел, будто и вправду бабы раньше разбойничали.

Один случай я даже переписал, чтобы вы сами смогли убедиться. Некий дворянин Веденяпин, проезжая из Елатьмы в свое имение Зуево, остановился у одной вдовы, тоже дворянки. И вот что пишет буржуазный историк со слов того дворянина Веденяпина. Беру в кавычки: «В то число, в полночь, к оной вдове приехала воровски М. А. Еталычева с людьми своими и со крестьяны из Матки, с попом Семеном Акимовым да церковником Силою Семеновым, и, связав меня, били смертно и топтали, и деньги 70 рублей моих отняли, и лошадь, мерина гнедова, отняли ж».

Или вот еще исторический пример (это я выписал из районной газеты соседнего города Кадома): «Кадомский купец Заливаев набрал шайку разбойников и ночью напал в городе на дом купца Лытина. Вооруженные ружьями и кистенями разбойники вырубili санные двери и ворвались в дом. Причем растлили двух девиц и на рассвете вернулись благополучно домой...» – так и далее.

Тут мы скажем – эге! Разбой-то разбоем, но он классовый характер носит. Порождение антагонизма то есть. Я хочу сказать – окраска у него была непримиримая. У нас же таперика если и случается драка, то только промеж себя и то по пьянке. Безо всякого антагонизма, по чистой дурости, можно сказать. А воровство бывает чаще всего из общественной кладовой накопления. И тут без антагонизма обходится дело. Случаются, конечно, и обострения, и даже

судят. Особенно после указа насчет хулиганства и усиления борьбы с ним. Дак без этого тоже нельзя. Сами посудите. Взять хоть такой случай...

В прошлом годе только что район у нас открыли (на десять лет закрывали нас); пришел я в Тиханово насчет пензии. Поселился в доме приезжих. Дежурила как раз Агафья Ивановна. «Здорово!» – «Здорово!» – «Как вы, да как я... Давненько, мол, не виделись». Я, бывало, в бытность председателя повозил ей и кур, и гусей, и меду... Дело прошлое, как говорится.

– Жизнь к нам вернулась, – говорит Агафья Ивановна. – В магазинах и хлеб и сахар появился. Чего теперь не жить? Одно вот плохо – выбрали меня в судебные заседатели. И каждый день все заседаем.

– Чего вы там заседаете? Или вам делать нечего?

– Дак все судим. По новому указу за хулиганство. Вчера Валерку Клокова засудили. Шофера из Провотарова.

– За что?

– Колхозное собрание разогнал.

– Там же Иван Свиненков в председателях.

– В нем-то вся и притчина. Его раньше из потребсоюза в председатели к ним назначили. Ну! Когда район закрывали... А теперь открыли район – колхозники и говорят: «Забирайте его обратно». Но кому он нужен? Он же работает у них, а живет в Тиханове. И заместителя себе тихановского назначил. И тащат за компанию из Провотарова. Колхозники роптали, роптали. Да кто их слушает? А тут как раз отчетное собрание. Народ собрался возле правления, и председатель со своим заместителем тут. Вот тебе, подъезжает на самосвале Валерка, пьяный. Встал он на крыле и говорит колхозникам: «Чего вы по углам все шепчетесь? Вяжите Свиненкова да его заместителя и ко мне в кузов бросайте. Я их в Тиханово на свалку отвезу».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.